



Воровской цикл

Генри Олди

Маг в законе. Том 2

«Автор»

1999

Олди Г. Л.

Маг в законе. Том 2 / Г. Л. Олди — «Автор»,
1999 — (Воровской цикл)

Один из лучших романов Г. Л. Олди, написанный на стыке альтернативной истории, фэнтези и утопии-антиутопии, – прежде всего притча. Притча о Великой Державе и Маленьких Человеках, о том, как слепые ведут слепых, и том, что нет ничего нового – ни под солнцем, ни под луной. Но маги и Российская империя начала века? жандармы, чей служебный «профиль» – эфирные воздействия?! колдуны-каторжане?! Впрочем, Олди, как всегда, не ищут легких путей – а намеренно усложняют свою задачу, чтобы потом постепенно выходить из лабиринта хитросплетений, порожденных их неудержимой фантазией.

© Олди Г. Л., 1999

© Автор, 1999

Содержание

Книга третья	6
Круг первый	7
Прикуп	7
I. Рашка-княгиня, или Марьяж с петлей на шее	9
II. Друц-лошадник, или Неправильный ром	18
III. Рашка-княгиня, или Безумству храбрых поем мы песню...	27
IV. Друц-лошадник, или Зверская дамочка по кличке Акула	38
Круг второй	46
Прикуп	46
V. Рашка-княгиня, или Делай как я	48
VI. Друц-лошадник, или Бес в ребро	55
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Генри Лайон Олди Маг в законе. Том 2

*And I and all the souls in pain,
Who tramped the other ring,
Forgot if we ourselves had done
A great or little thing,
And watched with gaze of dull amaze
The man who had to swing.*

*For strange it was to see him pass
With a step so light and gay,
And strange it was to see him look
So wistfully at the day,
And strange it was to thing that he
Had such a debt to pay.*

*Oscar Wilde.
«The ballad of Reading Gaol»*

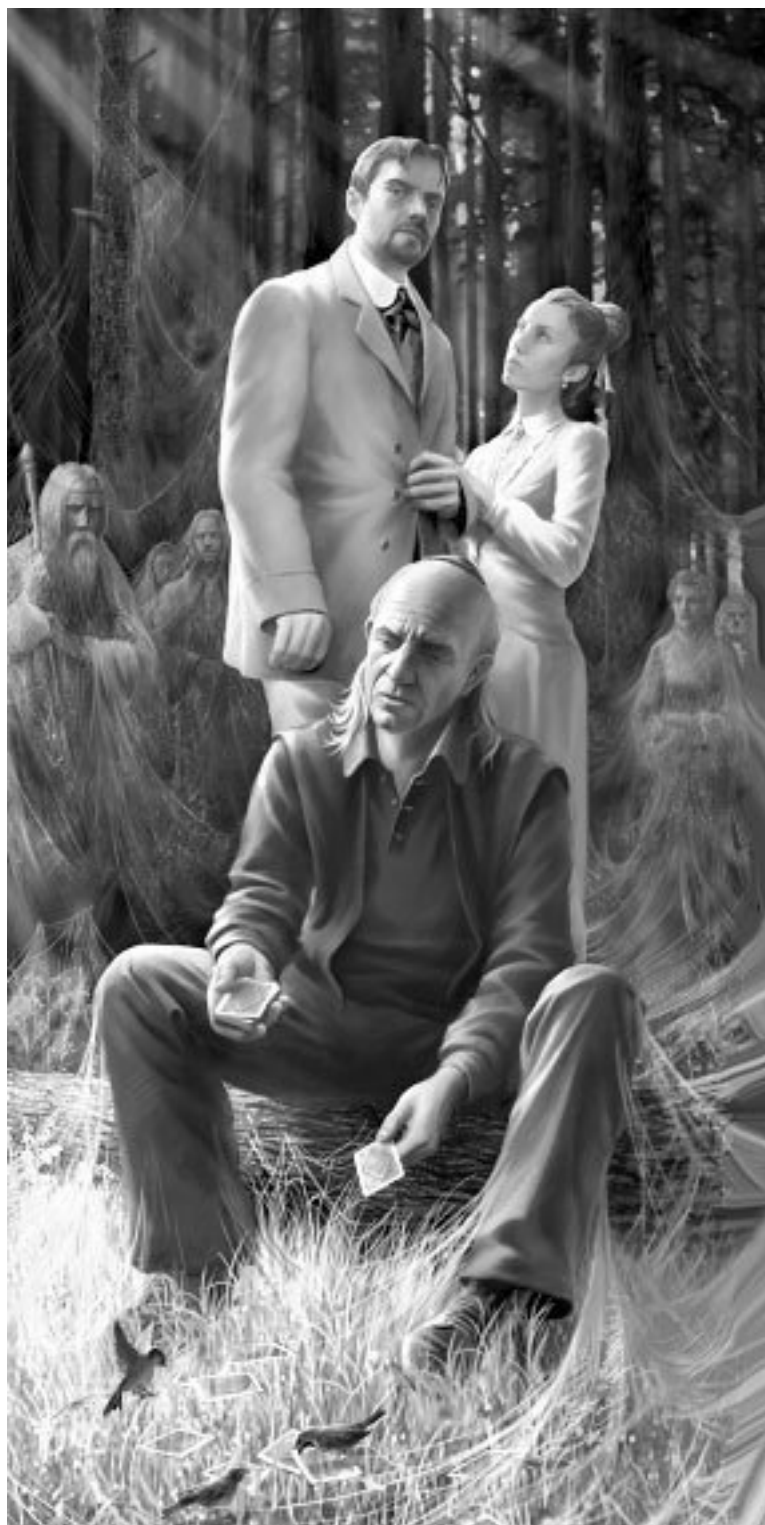
*С другими душами чистилищ,
В другом кольце, вперед,
Я шел, – и каждый, кто терзался,
Про свой не помнил гнет,
Но мы за тем следили тупо,
Кого веревка ждет.*

*И странно было знать, что мог он
Так весело шагать,
И странно было, что глазами
Он должен свет впивать,
И странно было знать, что должен
Такой он долг отдать.*

*Оскар Уайльд.
«Баллада Рэдингской тюрьмы»
Перевод К. Бальмонта*

Книга третья

И грех мой всегда предо мною...



Круг первый Миражи харьковской осени

*– И среди магов попадают славные ребята!..
Опера «Киммериец ликующий»,
ария Конана Аквилонского*

Прикуп

– Благословите, батюшка!

Наскоро перекрестив паломника – толстого, хитроглазого обывателя, по всему видать, мелкого купчишку с Основы, – отец Георгий поднялся по склону и нырнул в ворота Покровского монастыря.

Сентябрь вконец распоясался, искренне полагая себя гулякой-октябрем, ухарем «бабьего лета»: все дорожки были щедро засеяны палой листвой. Золота под ноги! червонного! и все бабы – мои! Даже вязь паутинок дрогнула в воздухе чудо-маревом; скользнула по лицу, зашекотала и исчезла, как не бывало. Впрочем, ослепительно голубое небо еще напоминало о жарком, слишком жарком лете, когда селяне всем обществом устраивали «Дождевые моления».

Помогало слабо.

«Скоро крестный ход, – подумалось невпопад. – Владыка собирался внутренние стены под мрамор отделать... Если братья Степановы не разболеются с ходом идти – отделает. Тысячу рублей пожертвуют, никак не меньше... Степановы, они набожные...»

Крестного хода Озерянской иконы Богородицы харьковчане ждали как манны небесной. Тридцатого сентября святой образ переносился в Покровский монастырь на зимние месяцы из Куряжа; двадцать второго апреля икона торжественно возвращалась обратно. Помимо сего были установлены два малых крестных хода летом: из Куряжа на Озерянку, место первого обретения иконы, и, спустя две недели, обратно.

Большого скопления народу малые хода не собирали.

А жаль. Как писал профессор Миллер: «Пребывание иконы в Покровском монастыре – вернее, в его храме, превращенном после учреждения архиерейской кафедры в кафедральный собор, – сильно отразилось на его материальном состоянии».

В какую именно сторону отразилось – о том умный профессор не писал. И без писаний ясно...

Вздыхнув, отец Георгий пересек наискосок двор и зашел к архиерейскому дому. В былые времена здесь стояла небольшая постройка из дерева – настоятельская келья, место жительства слободских владык. Но еще при преосвященном Павле вместо «халабуды», как келью стали презрительно дразнить не только в народе, но и среди иереев, возвели каменный корпус.

Ох, и любил же пышную роскошь преосвященный Павел, епископ харьковский, бывший ректор Смоленской семинарии! Нашел, вымолил, выбил деньги на дом, где нашлось место даже для домово́й «Крестовой» церкви в верхнем этаже, близ владычных покоев; и на коллегий по Бурсацкому спуску хватило, и на богатый гардероб осталось, на экипажи, породистых рысаков, мебель, картины...

Упекли преосвященного в Астрахань, после девяти тучных лет «на югах»; упечь-то упекли, а долги остались.

Который уже владыка на престоле сменяется, а все никак не выходит расплатиться до конца.

– Стой, отец Георгий. Да стой, кому говорю!.. Ишь, разогнался, ноги-то молодые...

Нынешний архиепископ, владыка Иннокентий, сидел близ дома на лавочке.

Лист кленовый в руках вертел.

– Благословите, владыка! – Отец Георгий вдруг сам себе напомнил тароватого паломника у ворот; это оказалось неприятно.

– Садись рядом, отец Георгий! – Кленовый лист осенил священника крестным знаменем. – Молчать будем.

Осторожно присев на край скамеечки, священник искоса бросил на владыку быстрый взгляд и поспешил сделать умное выражение лица. Несмотря на любимую игру в «простака», владыка Иннокентий был куда как непрост. Ректор Киевской академии в тридцать лет, епископ Чигиринский, владыка прежде епархии Вологодской, а с недавних пор – Харьковской. Доктор богословия. Знаменитый проповедник-златоуст. Член четырех духовных академий, университетов Харьковского, Московского и Санкт-Петербургского; а также двух ученых обществ – археологического и географического. Автор фундаментального курса «Догматического богословия». Священники-мздоимцы боялись владыку пуще гнева Божьего; горожане полагали святым.

И вот этот великий человек зовет к себе некоего отца Георгия, только чтобы помолчать вместе.

Если бы такое случилось впервые, впору было бы удивиться.

А так – привык.

– Ритор Прокопович сказывал, ты вчера в окружном суде заседать изволил? – начал «молчать» Иннокентий.

– Совершенно верно, владыка. После долгого перерыва ввиду отсутствия соответствующих процессов. Как епархиальный обер-старец, обязан был принять участие в рассмотрении дела о мажьем промысле. Обвиняемый – мещанин Голобородько, Иван Терентьев. Приказчик из Суздальских рядов.

– Ну да, ну да, – мелко покивал головой преосвященный. – Обязан был, значит. Оный ритор говорил, будто и мажишко-то дрянной, копеечный... Шелуха, прости Господи. Без облавников брали вроде бы. Двух городских послали, он и сдался. Правда или врет ритор?

– Правда, владыка.

– В чем обвиняли мажишку?

– Помогал путем отвода глаз сбывать порченную гречиху.

– Ох, грехи наши тяжкие! – Иннокентий заворочался, иронично вздернув хохлатую бровь. – Ты небось завизировал приговор? не стал артачиться?!

– Да, владыка. Мещанина Голобородько к телесным наказаниям и описи имущества; ученика его, Тришку Небейбатько, – к пяти годам острога. Согласно новому Уложению: статья 128-я, параграф четвертый.

– Ну да, ну да... к телесным наказаниям, значит. Опять узаконили порку, слава Господу нашему, во веки веков, аминь!.. Нужно дело, нужно...

Налетевший ветер швырнул в лицо горсть листьев. Сбил дыхание, облепил, вырвал из владычных рук тот единственный, кленовый, налитый багрянцем; и снова унесся невесть куда.

Почему-то осенней порой отец Георгий слишком часто обращал внимание на них – на листья. Опавшие! еще зеленые! иные, только грозящие закружиться в смертном танце! на ветвях, на земле, в воздухе... И еще – давняя, зауценная строка брезжила неотступно на самой окраине сознания:

«Листьям древесным подобны сыны человеков...»

– Пожар помнишь? – спросил владыка в своей излюбленной манере: резко меняя тему разговора и предоставляя собеседнику со всей торопливостью догадываться – о чем вдруг зашла речь?

– Помню, владыка.

Отец Георгий сразу понял, какой пожар имеется в виду. Знаменитый, можно сказать, прославленный пожар, когда горела нижняя Трех-Святительская церковь, где располагалась архиерейская усыпальница. Именно тогда началось массовое паломничество в монастырь, к праху святого Мелетия – огонь, принудив распаяться жестяной гроб, оставил невредимым внутренний, парчовый покров, где пребывал в целости прах святого.

– Чудо Господне тогда случилось, отец Георгий. Чудо! Редко такое бывает, редко... Особенно по нашим временам: темным, стервозным. Ныне иереи корыстолюбивы, причетники ни устава, ни катехизиса толком не знают! Ассигнации берут, это правда; иной требует свою камиллавку серебряными рублевиками набивать! Веришь, вчера одного мерзавца ударил собственноручно! – клубок с него сбил, рожу раскровянил...

Владыка помолчал, хмурясь.

– После в ноги к нему пал: прости грех увлечения гневом... Простил, собака! А как было бы славно, чтоб иерей от архиерея без колебаний все добродетели на себя перенимал: и ученость, и святость, и знания божественные!.. Чтоб из дурака – мудрец, из подвергаемого соблазнам – схимник! Чтоб рукоположение принимал вкупе с верой и знаниями! Царствие Господне настало бы на земле! Что скажешь, отец Георгий?

– Ничего не скажу, владыка. Сами ж велели: «Молчать будем». Вот и молчу.

– Ну да, ну да... молчун ты!.. Зову я тебя, зову, а тебе все как с гуся вода...

Отец Георгий, епархиальный обер-старец при Харьковском Е. И. В. Великого Князя Николая Николаевича облавном училище, наклонился.

Поднял и себе один лист.

Кленовый.

I. Рашка-княгиня, или Марьяж с петлей на шее

*Посему ходи путем добрых, и держись стезей праведников... а
беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее.
Книга притчей Соломоновых*

А сегодня тебе приснилось повешение.

Твое.

Как обычно, вокруг не было ни души. Да и самого «вокруг» – тоже. Только сизый, похмельный вечер, только ступеньки, ведущие на эшафот, – раз, два, три... Восемь, девять... вот и нет ступенек; только рука на твоём плече. Ведет, направляет. Ноги (босые! почему?!) ощущают под собой дощатый помост. Остановись, мгновенье! Княгиня, остановись! постой чуть-чуть на хрупкой преграде люка, на корочке льда, затянувшего полынью на исходе февраля, – еще миг, и омут разбежится кругами ада, увлекая грешную душу в путь обреченных.

Пеньковое ожерелье, натертое казенным варавским мылом, гадюкой обвивает шею; мочку левого уха противно щекочет узел.

Из узла торчат колючие ниточки.

Ты без капюшона, без этой последней милости, позволяющей жертве сломать шею и уйти почти сразу, нежели много дольше умирать от удушья.

Впрочем, тебе все равно.

Даже в каком-то смысле радостно: сейчас откроется люк, а значит, откроется правда – что там?

Словно вняв мольбе твоей радости, крышка люка проваливается вниз, слитный вой толпы оглушает («А-а-ах-х-х-х!.. А-а-а...»), и ты летишь, летишь, летишь в бездну с обрывком веревки на шее – смешной, страшный, безнадежный флаг бывшей жизни.

«Что за страна! – ворчит над ухом кто-то. Он всегда ворчит, когда тебе снится повешение; он брюзга и циник, этот странный кто-то, слишком часто называющий себя просто «я». – Проклятая страна! Повесить – и то не могут как следует!..»

Впрочем, тебе все равно.

А невидимая рука, еще миг назад сжимавшая твое плечо, рвет в вышине обертки карточных колод, и вслед тебе, в пасть бездны, сыплются крылышки тропических бабочек, атласные листья, цветной снегопад: алые ромбы, багряные сердца, аспидно-черные острия пик и кресты с набалдашниками по краям...

Красное и черное.

Кровь и угли.

* * *

...проснулась.

Простыни, нагретые за ночь, сбились вокруг в тесное, уютное гнездышко. В таком и подобает спать солидной даме, женщине... ну, скажем, средних лет; человеку с положением в обществе.

А мужу подобает спать в отдельной спальне, что, собственно, муж и делает.

Помнишь, Княгиня? – ты лежала с открытыми глазами, глядя в потолок. Алебастровая белизна казалась экраном модного синематографа «Меркурий»: сейчас невидимый механик (невидимый? опять?!) запустит свою машинерию, волшебный луч прорежет мрак, и начнут бежать по чистому полю: дни, годы, друзья, враги...

Подумалось невпопад: сегодня Феденька должен вернуться из Полтавы. Непременно заедет сюда, в Малыжино. Непременно. Похвастаться: фабрикант Крейнбринг, известный меценат, обещался субсидировать издание нового сборника стихов Федора Сохатина. За малую мзду – упоминание фамилии Крейнбринга на титульном листе, да еще посещение модным поэтом салона госпожи Крейн-бринг.

Небось ворчать станет Феденька: надоели. Влажные глаза поклонниц – надоели; рукоплескания – надоели; «Автограф! весьма обяжете!..» – хуже горькой редьки.

Лжет господин сочинитель. И сам знает, что лжет.

Он без этого жить не может.

Ты ведь сама видела, Княгиня: филармонический зал, ряд за рядом, встает, захлебывается овацией, и высокий мужчина во фраке кланяется на авансцене, прикладывает ладонь к сердцу, а лицо у мужчины – не лицо, зеркало.

Отражается в зеркале многоликий зал.

Наполняет душу всклень, с краями.

Дрогни – прольешь.

«Бис! bravo!.. Господа! господа! – второй Надсон!..» А Феденька смотрит в кипящую бездну, в голодные глаза тех, кто готов вознести его на гребне волны, перед тем как обрушить в забвенье; смотрит властно, с беззвучным приказом, и бездна затихает неофитом у ног пророка, едва спокойный голос с легкой хрипотцой начинает – мимо нот, лишь слегка поддерживая себя ритмом гитары:

– Внемли тоске в ночной тиши

Пустого сада.

Она – отрада для души,

Она – награда

За все смешные мятежи,

За все святыни,
За горечь лжи, за миражи
В твоей пустыне...

Ты сидела в ложе, уронив руки на бархат обивки; Княгиня, ты не понимала, искренне недоумевала: откуда? Тебе ведь так не сумеешь, правда?! – вскользь, отстраняясь ото всех и вся; чуть старомодно, позволяя себе больше, чем положено нынешним Пьеро с лицами, уставшими от лжи и пудры, с их отточенными ассонансами, парадоксами рифм, превращающих стихи в оргию созвучий... Немного это походило на манеру Фиры Кокотки, твоей крестной, восемь лет назад умершей в Женеве от апоплексического удара: придыхание в конце строк, смешное, слегка напоминающее волчий вой, но в то же время жутковатое – пауза, и до боли в висках вслушиваешься: неужто впрямь – волки... стоя по следу...

...За ужас помыслов благих —
Щебенки Ада;
За трепет пальцев дорогих,
За боль распада...

После концертов он смеялся, шелестя в уборной цензорскими справками «касательно естественных причин успеха, а также отсутствия эфирного воздействия». Джандиери к этим справкам не имел касательства: честно заработаны. Ты это знала лучше прочих – ученик до выхода в Закон не имеет права на «эфир», а решившись самовольно, без надзора и присутствия рядом крестного, будет по меньшей мере три недели страдать бледной немочью.

Да, ты знала.

Что же он сможет, друг Феденька, когда Закон откроет ему свои двери?!

И кого видишь ты, глядя сквозь него: себя? да, себя... немного – Фиру... но почему – кого-то еще?

Многих? разных?

Разве так бывает?!

– За плач вблизи и бой вдали,
За соль на раны...
И слово странное «внемли»
Не будет странным...

* * *

Ничего не проявлялось на экране потолка.

Ничегошеньки.

Спрашивай не спрашивай – жди ответа, как соловей лета...

Ты встала, накинула на плечи шелковый пеньюар. Мужнин подарок, к третьей годовщине свадьбы. Прошла к трельяжу, легко опустилась на мягкий пуф; всмотрелась в зеркальную гладь, окруженную шаловливыми купидонами, словно воспоминание о Феденькином триумфе мимо воли толкнуло тебя на этот поступок.

Помнишь?

– ...не надо тебе на мне жениться. Глупости это все. Ты сейчас на меня сквозь стекло глядел, а другие – они на тебя, как на стекло, смотрят. И видят за Федькой-стеклом – меня.

Старую, злую; умную. Жизнью битую. Разную. Просто они слепые. Они думают, что это все ты: и стекло, и за стеклом. Оттого ты им нравишься, оттого зовут к себе. Ведь зовут, да?

Думала ли, – старая? да! злая? да! битая? да!!! – что доведется вглядываться в собственного крестника, в Федьку Сохача, влюбленно пытаюсь увидеть сквозь него иные тени? Себя? да! – но ревность люта, как преисподняя: откуда другие?!

За ним? за *твоим*?!

Смирила дыхание; заставила зеркало откликнуться не грезами – отражением.

Твоим.

Опрометчиво? К счастью, нет. Большинство женщин твоего возраста не слишком любят смотреть на себя по утрам; у тебя же все было наоборот. Утренний взгляд – самый свежий, самый искренний. Тень кошмара еще лежит на лице, но... Нет, не так.

Поднялась, скользнула к окну.

Раздернула портьеры; вернулась.

Да, именно так. Неяркий, осенний свет оказался впору: тени съжились, заматались... ушли. Обеими руками ты приподняла волосы и неожиданно для себя самой показала язык отражению.

Совершенно неприличный поступок для дамы... ну, скажем, средних лет.

Совершенно неприличный язык: розовый, острый.

За спиной тихо скрипнула дверь. Это камеристка. Кетеван Бериашвили, коренная имеретинка; бессловесное существо. Если бы когда-нибудь тебе захотелось обрести верную рабыню, ты выбрала бы Кетеван. Ровесницы, вы идеально сосуществовали вместе уже третий год, хотя выбор был все-таки сделан не тобою – за тебя.

Вы даже могли часами молчать.

Для двух женщин – вещь почти невозможная и наводящая на мысли о крамольном «эфирном воздействии».

Заметки на полях

Если вы посмотрите в глаза Кетеван, она спокойно выдержит ваш взгляд. И ничего особенного вы в ее глазах не обнаружите. Но если вы будете настойчивы, заглянув глубже:

...сосна.

Но отнюдь не та, что стоит одиноко на севере диком. Горные кручи пестрят разнотравьем и цветами, темными каплями крови рдеют ягоды на кустах кизила, и в пронзительную высь неба возносится она – прямая и гордая, с достоинством несущая чуть легкомысленную шапку пушистой хвои.

Королева.

* * *

Откинувшись на спинку кресла, ты прикрыла глаза и отдалась во власть Кетеван. Приятно, когда по коже лица мягко движется подушечка, смоченная в настоях ромашки и шалфея; приятно чувствовать ласку черепахового гребня.

– Как спалось, Кетеван?

– Спасибо, тхавади.¹

¹ Тхавади – княжеский титул (груз.).

Ну вот, дождешься от нее большего. «Спасибо...» Иная уже бы всякий сон по третьему разу пересказала: петухи – к пожару, опавшие листья – к любви неразделенной... Ладно, помолчим. Сегодня будут гости, сегодня день отдыха. Работа – завтра.

Вечером.

Бал в Е. И. В. Марии Теодоровны Институте благородных девиц, раз и навсегда прозванном обывателями «Магдалинкой». Говорят, даже губернский предводитель дворянства, действительный статский советник Ачасоев, категорически возражал против открытия малого храма Марии из Магалы именно в институтском дворе. Такое, дескать, приличное заведение, цитадель скромности и целомудрия!.. Но тогдашнего митрополита, пожалуй, мог переспорить только Петр Ключарь, и то пригрозив исключительно недопущением в райские кущи.

Впрочем, бал есть бал, и не в храме дело.

Ежегодный праздник для девиц и «Варварских» облав-юнкеров. Если юные красавцы-жандармы рассчитывают вволю наплясаться с институтками, заранее пощипывая редкие усики, – тебе их искренне жаль. Особенно элитных «нюхачей». Надо будет придумать что-нибудь похитрее саквояжа британского посла, лорда Байрона, где под «вторым дном» вдруг обнаружились алмазные подвески директрисы. Эту шутку «нюхачи» раскололи за полтора часа, тайком вернув драгоценности владелице во время полонеза. Директриса так ничего и не заметила, а четверка будущих «Варваров» во главе с неугомонным Пашкой Аньяничем получила зачет.

А может быть, Княгиня, тебе просто вздумалось тогда послушать музыку (Огюст Бернулли!.. вальс, вальс!.. прошлое на три счета...), и ты не стала мудрствовать.

Все может быть.

– Брат пишет, Кетеван?

– Да, тхавади.

– Здоров?

– Да, тхавади.

Знаешь, Рашка! – тебе захотелось веселья. Странное, чужое желание. Ну, например, влюбить на завтрашнем балу престарелую Марь-Ванну, классную даму «Магдалинки», в того же Пашку Аньянича, лихого портупей-вахмистра, как любили именовать себя без пяти минут выпускники. Влюбить с размаху, до гробовой доски, и пусть господин «нюхач» – кстати, полковничий фаворит, хотя Джандиери это тщательно скрывает! – прячась по углам от назойливой старухи и с тоской взирая на танцующих, определяет: был «эфир» или нет?!

Да и самой любопытно: отловит ли Аньянич воздействие, где он сам – косвенный объект? И продержится ли морок хотя бы полчаса? Лучше – час. Нельзя издеваться над молодежью. Надо только не забыть сразу же сказать больно и уехать домой...

– Все, Кетеван?

– Нет, тхавади.

Жалко, что ты не «видок». Сегодняшний сон... Уже скоро полгода, как повешение снилось тебе в последний раз. В самом скором времени, зябким апрельским утром, Джандиери подсунул тебе «Крымские новости». В статье «Самосуд: дикость или волеизъявление?» рассказывалось, как ялтинские мещане насмерть забили юношу-аптекаря, заподозрив того в «пособничестве мажьему промыслу». Автор статьи пытался быть и вашим, и нашим – дескать, мы цивилизованные люди, европейцы, но надо войти в положение, понять мотивы... Мотивы были поняты, и цивилизованность подтверждена. А ты впервые за эти годы вспомнила о докторе Ознобишине без обиды, без терпкой горечи, и пожалела старого Короля Крестов. Да нет, теперь, пожалуй, Туза.

Хотя какой он Туз при забитом крестничке...

Иногда ты стыдилась самой себя. Иногда; чаще, чем хотелось бы, но реже, чем стоило. Стыд набегал волной и отступал, прятался в глубине, теснимый рассудком. Кому стало бы легче, если бы ялтинские мещане затоптали Феденьку? Акульку? тебя, Княгиня?!

Впрочем, случись это сейчас, тебя как раз бы и не тронули; в связи с новомодной доктриной «Божьих мельниц», выдвинутой год назад Святейшим Синодом. Обошли бы стороной, будто прокаженную, издали тыкая пальцами – а Феденьку топтали бы, топтали, истекая слюной и чувствуя себя мечом провидения!.. хватит!

Прекрати.

Не те годы; не та масть, чтобы гнать истерику.

– Ай!

– Простите, тхавади.

– Ничего...

Снова скрипнула дверь за спиной. На этот раз не тихо, не вкрадчиво – с уверенностью взвизгнули петли, которые давно пора велеть смазать, да все недосуг; с хозяйской небрежностью.

Шаги.

Тяжелые, медленные.

Ближе.

И сразу стало жарко. Все три твоих отражения заматались в трельяжных зеркалах, подернулись дымкой, хотя ты не двинулась с места, даже головой не пошевелила – ведь так, Княгиня?! – и в висках проснулись тайные птенцы, гулко расклеывая скорлупу хладнокровия. Что-то каркнула Кетеван; ты не расслышала, что именно. По сей день тебе не удавалось привыкнуть к его появлению. Старая, истрепанная жизнью баба! ветошь замасленная! Княгиня, Дама Бубен! – что с тобой?!

Он подошел, склонился.

Чужие губы легко коснулись твоей шеи, уколол щеточкой усов.

– Как спалось, милочка?

– Спасибо, тхавади...

Ты ли спросила? – нет, не ты.

Ты ли ответила? – да.

«Спасибо, тхавади...»

Князь Джандиери еще раз поцеловал тебя в затылок и отошел к окну.

На дворе рождалась осень.

* * *

Джандиери предложил тебе стать его женой еще тогда, в поезде «Севастополь – Харьков», в купе на двоих. Предложил коротко, по-деловому, но без оскорбительной усмешки. Сидя напротив, он чистил апельсин ножичком-брелоком; оранжевая кожица свивалась петлями и ложилась на столик. Ты смотрела, молчала и понимала: князь прав.

Меньше всего это походило на объяснение в любви.

– Понимаете, дорогая моя Раиса Сергеевна... Крыша – это не только особый контракт. Это еще и набор жизненных обстоятельств, способствующих незаметности. Или, наоборот, возможности быть все время на виду, что порой скрывает истинную подоплеку лучше шапки-невидимки. Вы понимаете меня?

Ты понимала.

Ты прекрасно его понимала.

В дверь сунулся проводник: «Чайку-с? Чайку-с не желаете?» Липкие, реденькие волосы проводника были зачесаны поперек лысины, фуражка зажата в руке, и весь он, еще молодой, но насквозь пропахший нафталином и вагонными сквозняками, вызывал брезгливую жалость.

«Чайку-с?.. э-э... Виноват-с!.. нижайше прошу...»

Створка двери с лязгом вошла в предназначенную ей щель, будто меч в ножны.

– С такими, как ваш гулящий ром, гораздо проще...

Легкая досада аристократа, прерванного невпопад и обстоятельствами столь низкими, что гневаться на них бессмысленно, мелькнула в голосе Джандиери.

Мелькнула и исчезла, как не бывало.

– ...Они малозаметны по самой сути своей. Даже когда пляшут, вдрызг расшлепывая сапоги ладонями. Господин Друц-Вишневский – человек толпы. Оформим бумаги, вид на жительство, назначим смотрителем училищных конюшен или еще кем, поселим в меблированных комнатах за казенный счет... Не иронизируйте, пожалуйста, – если кто-нибудь из так называемой «кодлы» сильно захочет найти вашего... нашего Валета, то найдет. Будет трудно, потому что контрактников практически невозможно нащупать эфирным воздействием, как если бы они прошли облавную подготовку; впрочем, есть и иные пути. Но скажу вам как профессионал: еще не было ни единого случая, когда завербованный маг-рецидивист... прошу прощения, негласный сотрудник пострадал бы от его бывших коллег или произвола властей. Репутация сотрудника Е. И. В. особого облавного корпуса «Варвар», пусть даже сотрудника негласного, говорит сама за себя. Вы мне верите?

Ты верила ему.

Да, ты верила.

Сочный глобус апельсина разваливался дольками, рассыпался локальным Армагеддоном, красиво ложась на блюдечко. Пальцы князя, сильные, поросшие рыжим волосом, были на удивление ловки – ни капли не брызнуло, ни капельки.

Апельсин был доволен.

И все-таки казалось: эти пальцы сейчас должны дрожать. Не дрожат? – тем хуже для них. Ты не знала, почему хуже, ты ничегошеньки не знала, отдаваясь колесному перестуку, словно нелюбимому, но надежному мужчине; а еще на память приходил «Пятый Вавилон» и бешеная пляска ротмистра-убийцы на пороге безумия.

Способен ли на такое господин полу... нет, отныне полный полковник Джандиери?

Мысли текли ровно и глупо.

– С вами, милая Раиса Сергеевна, дело обстоит куда сложнее. Вас трудно спрятать, растворить в толпе. Можете считать это комплиментом. Таких, как вы, имеет смысл выставять на самом видном месте. Словно вазу эпохи Мин в музее искусств – и видно, и украсть затруднительно. Посему я к вам с предложением: выходите за меня замуж. Человек я солидный, состоятельный; опять же, вдовец. Свет отнесется с пониманием. И мне бы чертовски хотелось посмотреть на того мага, будь он хоть Крымским Тузом, хоть подосланной Десяткой из осетинских «мокрых грандов», который осмелится пальцем тронуть супругу Шалвы Циклопа. Вы согласны со мной?

Ты была согласна.

Помнишь, Рашка? – ты была совершенно согласна с ним.

Ты даже взяла апельсиновую дольку и слегка прикусила. Кислый, вяжущий сок приятно обжег язык, и ты согласилась с собой: да, ждала. Не именно предложения руки и сердца, но чего-то в этом роде.

Надо бы зарумяниться спелым (ну разве что слегка надкусанным!) яблочком, только сил нет.

– Ну и последнее... Не стану скрывать, Раиса Сергеевна: я испытываю к вам искреннюю симпатию. С самого начала. А также уважение одного умного человека к другому умному

человеку. И наконец, некоторое чувство вины. Улыбаетесь? Зря – я имею в виду вовсе не ваш арест в Хенинге. За честное исполнение служебного долга вины не испытывают. Я о другом. Ведь я подверг вас трудным испытаниям там, в Мордвинске, подверг отнюдь не ради долга служебного; и честь рода Джандиери требует, дабы я расплатился с дамой (с Дамой?) наиболее приемлемым образом. Поверьте, кроме чисто делового аспекта, мне будет крайне приятно, если вы согласитесь на мое предложение! И вас, дорогая Раиса Сергеевна, это ни к чему не обязывает! Сами понимаете: вы не девочка, да и я давно не юноша бледный со взором горящим. Полагайте наш брак частью контракта, выполнением взаимных обязательств...

– В марухи зовешь, фараон? – спросила ты.

– Зову, – очень серьезно ответил князь, доставая портсигар.

И ты не стала отказываться.

От тонкой, дамской пахитоски, невесть как обнаружившейся в серебряных недрах.

Впрочем, как и от всего остального.

По приезде в Харьков, в кабинете начальника вокзала, тебя ждали документы.

Увидев их, ты прослезилась, словно встретив старых знакомых. Паспорт на имя Эльзы, баронессы фон Райхбен, – старенький, десятилетней давности, только на сей раз его не украшала красная полоса поперек каждой страницы и надпись: «Вещественное доказательство». Письмо с благословением старого барона-отца – Вильгельм фон Райхбен, ранее существовавший исключительно метафорически, поздравлял старшую дочь с новым вступлением в брак, сетуя о невозможности лично присутствовать (подагра, мигрень и что-то еще, кажется, катар желудка...); к письму прилагалась пачка телеграмм от хенингских родственников, нотариальные справки имущественного характера и официальный вызов на дуэль князю Джандиери от гусара Хотинского по причине жгучей ревности. В вызове также рассматривался вариант отказа от претензий, если господин полковник в свою очередь...

Дальше ты читать не стала. По твоему мнению, с дурацким вызовом Шалва Теймуразович переборщил. О чем господину полковнику и было незамедлительно объявлено, на правах невесты.

Джандиери кивнул, порвал вызов и велел вокзальным лакеям подогнать извозчика к входу.

Тот факт, что он заранее знал о твоем согласии и даже озаботился подготовить нужные бумаги... о нет, это не обидело!

Ничуть.

Контракт есть контракт.

* * *

...Джандиери открыл нижний шпингалет, толкнул створки окна наружу – и прохладный, слегка сырой воздух наполнил спальню. Осень вместо жухлой листвы пахла грибами, и это было тебе неприятно.

Там, во сне-повешении, сизый вечер тоже пах грибами, раздавленными подошвой солдатского сапога, ароматом разрытой земли, могильным тленом – ты только сейчас вспомнила это и зябко поежилась.

Ах, пустяки!.. Грибы, могила... блажь стареющей женщины.

– Закрыть, милочка?

– Нет, не надо. Так лучше.

Он всегда обладал тончайшим нюхом на твои настроения. И на ложь – наверное, тоже. Впрочем, окно закрывать не стал, сделал вид, что верит. Смешно: многие ли жены могут похвастаться, что муж понимает их до мелочей? До подспудных намеков? – и у мужа при этом

неистово зудит лоб, прорезаясь «третьим глазом»?! А многих ли жен будущие мужья арестовывали на балу в Хенинге, вместо медового месяца в Ницце отправляя на каторгу в Анамэль-Бугряки, дабы спустя годы перевести на поселение? Тебе есть чем хвастаться, Княгиня, и, пожалуй, в кругу болтливых куриц из высшего света ты способна произвести настоящий фурор.

Как, хочется чужих восторгов? обожания? косых взглядов в спину?!

Маменька, а правда, что княгиня Джандиери, урожденная фон Райхбен, была в баракке классной дамой?.. Я тоже хочу, душа моя, маменька!..

Осень.

И даже не смешно.

– Вчера получил депешу от Дорф-Капцевича. – Джандиери все смотрел в окно. В домашнем шлафроке, небрежно подпоясанный мятым кушаком, господин полковник все равно казались намертво затянутым в форменный мундир. Даже бахрома на плечах, бахрома разлохматившихся швов, мнила себя эполетами. А под затылком-то, под коротко стриженным, складка намечается... первая.

Стареешь, муженек?

Да и ты не молодеешь, девочка моя...

– И что пишет Его Высоконеподкупность?

– Отвечает на августовский рапорт. Велит Аньянича со товарищи по окончании училища от выбора вакансий освободить. Вместо этого, намекнув на скорое производство в ротмистры, незамедлительно перевести в столицу именным приказом Его Высоконеподкупности. Опять же набор сего года предписано сократить более чем вполтину. Полагаю, меньше двух рот получится. Не училище, а пустыня египетская... слава Тебе, Господи, оглянулся на мольбы раба Твоего! Увольнять преподавателей жаль, душевно жаль, а чем загрузить при столь малом составе облав-юнкеров – понятия не имею...

Джандиери пожал плечами.

Голос князя был ровен и спокоен, но где-то по самому краешку змеилась трещинка. Не поймешь: радость? скука? странное нетерпение?! В последнее время такие трещинки начали изрядно беспокоить тебя, как путника в горах тревожит любой шорох над головой.

Или он просто еще не отошел ото сна, вот и похрипывает?

Ты позволила бессловесной Кетеван вновь заняться твоей прической и сделала вид, будто сочувствуешь проблемам мужа. Да, Джандиери мигом ощутит, что сочувствие твое – притворство. Ну и пусть. Глупо ожидать от законной супруги, чтобы она супруга душой вникала в дела казенные. Значит, все в порядке: и вежливая ложь, и ответное понимание мотивов. Набор сокращен, Аньянич будет отправлен в столицу. Скоро станет ротмистром. Поедет в Севастополь, в «Пятый Вавилон» – плясать мертвую.

Отлично.

Интересно другое: откуда, из каких кадетских корпусов поступают в училище эти молодые люди, будущие облавники? Во всяком случае, ты ничего о таких корпусах не слышала. И была не слишком уверена, что это вообще корпуса, причем кадетские.

Третий... Ах, как летит время! – скоро четвертый год ты наблюдаешь их вплотную: облав-юнкеров, «щеглов» с первого курса и «портупей-вахмистров» с курса второго, если пользоваться училищным сленгом. Разных; и в то же время – одинаковых по сути. Высокие, сильные, с хорошо развитыми телами, отчего юноши больше кажутся мужчинами, настоящими мужчинами, у которых по недомыслию природы и попушению божьему плохо растут усы с бородой. Спокойные, слишком бесстрастные для людей их возраста, облав-юнкера никогда не ссорились между собой, крайне редко попадали в карцер – и даже традиционный, веками взлелеянный обряд «цукания» старшекурсниками младших здесь не прижился.

Поначалу что-то такое всегда наклевывалось, еле-еле дымилося и угасало само собой без видимых причин. Кстати, на твой вопрос «Почему?» Джандиери (помнишь?..) лишь растянул губы в улыбке.

Столь же похожей на настоящую улыбку, как похожи были здешние облав-юнкера на своих сверстников, юношей из хороших семейств, или даже на молодых кавалеристов Чугуевского военного поселения.

И еще: они вызывали у тебя симпатию.

Не по годам сдержанные в проявлении эмоций, они нравились тебе. Чувство, удивительное для экс-каторжанки, мага в законе. Может быть, это потому, что у тебя нет своих детей, – да, Княгиня?

Все может быть.

– К обеду распогодится... как полагаешь, милочка?

– Да. Кетеван, ты скоро?

– Заканчиваю, тхавади.

Поначалу думалось: ничего особенного. Даже мысль: «Из таких, не попади они в училище, вышли бы славные крестники...» – даже эта тихая, вполне обычная мыслишка выглядела как есть, тихой и обычной. Что с тобой, Княгиня?! Почему из темных глубин все чаще всплывает былой разговор с Феденькой? стакан перед лицом твоим? слова простые, всей жизнью выношенные?!

Почему?!

Боишься?!

– ...ты сейчас на меня сквозь стекло глядел, а другие – они на тебя, как на стекло, смотрят. И видят за Федькой-стеклом – меня. Старую, злую, умную. Жизнью битую. Разную. Просто они слепые...

Хочешь, я подскажу тебе, Княгиня: кто видится тебе за Федькой-Феденькой?!

Кто – через кривое стекло облав-юнкеров?..

Не хочешь?

II. Друц-лошадник, или Неправильный ром

*Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены
будут прямо перед тобою.*

Книга притчей Соломоновых

Всей дороги от училища к дому – минут пять-семь. Ну, десять, ежели от самых конюшен считать, наискось мимо манежа. Опять же, без спешки: задержаться в умывальне, ополоснуться с душой, до пояса, переодеться в цивильное... или лучше сказать – в домашнее? И так ведь не в мундире ходишь. На фи́га попу гармонь, а конюху – мундир, пусть даже зовется он не конюхом, а «старшим смотрителем конюшен»?

Ты и не спешил.

Никуда.

Раньше и не подумал бы мыться-переодеваться – чай, не барин! Так бы и подался хоть на гулянку, хоть «на дело»; а притомился – здесь же и отдохнуть прилег бы, на соломке.

Было – сплыло.

Другим ты стал, баро, ай, совсем другим, будто уж и не ром вовсе, не маг в законе, не Валет Пиковый! А верно подмечено: и закон тебе не писан, и кудри ромские в парикмахерской

месяе Жилия обстрижены; разве что Валетом – остался. Это на всю жизнь, до краешка смертного. Думал ли раньше, гадал ли, каким боком жизнь эта самая обернется?

Не думал, не гадал, баро. И сейчас не гадаешь: пустое это дело, даже для козырного бродяги – самому на себя гадать, если только не «видок» ты. Да и «видоку» не все видно... Гадать не гадаешь, зато думать – думаешь.

Так ведь, Друц, душа непутевая?

Все так, все верно. Отродясь столько не думал, сколько сейчас. Стареешь, должно быть. Вон и домом на старости лет обзавелся. Виданное ли дело: дом у таборного рома?

Ан, выходит, бывает, что и дуб кивает...

* * *

– Завтра у «щеглов» из второй роты пробная выездка. Как, Ефрем Иванович? – покажешь джигитовку, тряхнешь стариной?

– Отчего ж не показать, Илларион Федотыч? – обернулся ты навстречу пожилому вахмистру, как всегда, неслышно подошедшему сзади. Вернее, это вахмистр полагал, что неслышно; и ты не разубеждал его. – Когда выездка-то? Как обычно, в девять?

– В девять. Только ты гляди, Иванович, рупь-за-два, без этих твоих... Без конфузиев, значит. Как в тот раз... Чтоб не увлекался, значит.

– Обижаешь, Федотыч. – С вахмистром ты давно был на короткой ноге. И звал его по-свойски, зачастую без труднопроизносимого «Иллариона», просто «Федотычем», взамен уставного «ваше рвение». Надо сказать, что и сами училищные дядьки-наставники уставного обращения не любили. – Да ведь и ты рядом будешь. Одернешь, ежели что?

– Одерну. Только пока я тебя, кучерявого, дергать кинусь... Постарайся, рупь-за-два? «Щеглы» ведь, они «щеглы» и есть, желторотики! Пока разберемся: у кого нюх, у кого глаз, у кого хватка... ну, ты меня понял...

Морщинистое лицо Федотыча съежилось печеной картошкой; он оглушительно чихнул, трижды перекрестив рот.

Чтобы бес не влетел.

По сей день тебя мучили сомнения: есть ли у вахмистра допуск к спискам негласных сотрудников. Намекает ли? знает ли, с кем имеет дело? просто делится сомнениями?! Федотыч был не из «нюхачей», не из старших преподавателей, но служака опытный, тертый жизнью, у таких не в звании счастье, не в чине дело.

Может, и знает, да виду не подает.

Бросает тихую натырку: «Пока разберемся, у кого нюх... ну, ты меня понял...» А если не понял ты его, значит, не понял. Бранить начальство не станет – прямой команды не поступало; а вахмистрова блажь с ходу учинить «щеглам» двойную проверку...

Или ты все-таки лишнее заподозрил?!

– Буду стараться, Федотыч. Ну, бывай, до завтра.

– До завтра, Иванович.

Заметки на полях

При первом, мимолетном взгляде глаза вахмистра Федотыча похожи на оловянные пуговицы. И при втором – тоже. Но вы не поленитесь, взгляните в третий раз:

...пристань.

Не какие-нибудь там покосившиеся рыбацьи мостки, хотя, конечно, и не каменный причал для морских судов. Речная пристань в тихой затоке – старая, надежная, крепкая. У пристани баркас покачивается. Краска на баркасе выцвела, облупилась, названия не разобрать, но по всему видать – справная посудина, проверенная.

Еще послужит хозяевам.

* * *

Дожил, каторжник беглый?! «Рад стараться!» – вахмистры по отчеству кличут, кочевать бросил, обстоятельным человеком стал, мещанского сословия! Степенный, неторопливый... набожный даже. Ты приложил ладонь к груди, нащупал под рубахой нательный крестик. Уж года полтора, как окрестился – а до сих пор привыкнуть не можешь, ром гулящий!

Шиш вам – гулящий!

Оседлый.

И не «Драда-ну-да-най!», а честно-благородно: «Ехал казак за Дунай...»

Ты направился к воротам: мимо тщательно выметенного плаца, турников, лесенок, гимнастического бревна, мимо серого трехэтажного корпуса администрации. Открывая врезанную в стену калитку из узорчатого чугуна, привычно махнул рукой выглянувшему в окошко знакомцу-караульному – бывай, мол!

Вышел на улицу.

Вот и закончился еще один день. Брат вчерашнего, сват завтрашнего... Брат? сват?! Врешь ты себе, баро; сам знаешь, что врешь. Вроде бы по кругу ходишь, на привязи: лица, стены, конюшни, конюхи, лошади, за которыми нужен твой наметанный глаз (а за людьми вдвое того!), – и все равно каждый день что-то да меняется.

Не вокруг. В тебе самом.

В таборе – наоборот. Шум, гомон, разноцветный водоворот красок, звуков, запахов, новые лица, новые дороги, новые города; вот только сам ты остаешься прежним. Друцем-лошадником, лихим ромом, магом в законе. В тридцать лет, в сорок, в пятьдесят – пока не сдохнешь на обочине, в канаве. Сколько ты коней свел на своем веку, Друц? Пожалуй, добрый табун наберется. А счастья-ума ни украсть, ни нажить так и не сумел.

Не пора ли остепениться?

Спасибо Шалве Теймуразовичу: остепенил. Счастья от этого, ясное дело, не прибавилось (хотя жив остался, грех Бога гневить!) – зато умишко понемногу наживать стал. Выходит, в пояс надо кланяться ихней светлости господину Циклопу; а земной поклон – отцу Георгию, епархиальному обер-старцу при училище.

С отцом Георгием вы сошлись на удивление быстро. Впрочем, были на то свои причины, о которых не всякому знать надобно...

Ты миновал старинное здание фельдшерского училища, украшенное с фасада колоннами, – фельдшера давным-давно соседствовали с училищем облавных жандармов. Чуток постоял перед единственным подъездом двухэтажного казенного дома, что служил тебе пристанищем последние три года.

Войти медлил.

Смешно: «казенный дом» всегда означал для тебя одно – тюрьма, буцыгарня. К слову сказать, здешняя арестантская рота, а также тюрьма располагались неподалеку, в Залопанской части города. А оказалось, что «казенный дом» – вовсе не обязательно острог. Всего лишь жилое здание, находящееся на содержании у казны. Обычный дом, где живут люди, состоящие на государственной службе. Опять же смешно: ром-конокрад, беглый каторжанин – на госу-

дарственной службе! Который год об этом думаешь; который год дивишься, хотя и меньше, чем поначалу.

Ты достал папироску, повертел в пальцах. Раздумал, спрятал обратно в коробку и, вразвалочку поднявшись по вытертым ступенькам, потянул на себя привычно заскрипевшую дверь.

К себе идти не хотелось – тоскливо одному в четырех стенах; но ты и не собирался к себе. Как не собирался и разбор чинить: думы твои правильные – что есть они?! Личина, вьевшаяся копотью в старую шкуру, или шкура новая, отросшая поверх былой язвы?!

О заборю, ли роскэдава, э паш да раскри, мамо!.. О забор, тебя я поломаю...

Нет.

Нельзя.

Ехал казак за Дунай...

...Крохотная квартирка отца Георгия находилась в самом конце длинного коридора.

Мелодично звякнул колокольчик.

– Заходи, Дуфуня. Не заперто, – слышалось за дверью.

* * *

Перекрестившись на скромный иконостас с горящей перед ним лампадкой, ты еще отметил задним числом: рука сама поднялась для крестного знамения. Раньше вперед голова думала, напоминала. А теперь – само.

Вера?

Или привычка?

Размышлять о таком не хотелось: только сомнениями душу истерзать. Да и не за тем пришел ты к отцу Георгию.

В крохотном кабинете тени гуляли по стенам. Тесно им, черным; жмутся друг к другу, толкаются плечами. Окошко шторкой задернуто, на столе керосиновая лампа теплится – а сам стол, как обычно, книгами да бумагами доверху завален. На стене – полочки аккуратные; на полочках – опять книги, книжки, книжищи... И добро б церковные фолианты, как батюшке по сану положено. Ну, ладно, Библия! Молитвослов! «Православное обозрение»! «Духовный Вестник», наконец...

Нет! – тут тебе и Уложение о Наказаниях с комментариями, во всех семи томах, с золотым тиснением; и подшивка «Бюллетеня Департамента Юстиции» за последние пять лет, с самого первого выпуска; и «Круговая порука у славян» профессора Себастьянского, и «Индивидуалистическое направление в истории философии государства», вкуче с «Обозрением ложных религий – языческой, новоавраамитской и магометанской» архимандрита Израйля.

Ладно! Уговорили! Обер-старец епархиальный по должности обязан быть докой в юриспруденции! в праве светском и церковном!

Молчу!..

Но Коран магометанский? Талмуд авраамитский? Толстенная книжища «Зогар», знать бы чья?! Чинское «Дао-дэ-цзин», прости Господи! – эдак родное таборное «Драда-ну-да-най» тоже чьим-то мудрым сочинением окажется! А с самого края, стопкой – сочинения некоего господина Папыуса: «Практическая магия», «Белая магия», «Черная магия», «Теория магии», «Рождение мага», «Становление мага»...

– Опять книжки разглядываешь? – Отец Георгий, мягко усмехаясь, поднялся тебе навстречу из-за стола. – Заходи, садись. А чем глазеть всякий раз – взял бы да полистал, если приглянулось. Грамотный ведь?

Во всем кабинетике и места-то было: стол поставить, полки с книгами по стенам развесить да хозяину с единственным гостем кое-как преклонить колена. Вот ты и уместился на

скрипучем венском стуле – старожилы говорят, из самой Вены еще в австро-прусскую войну вывезли дюжину красавцев и по квартирам раскидали.

– Здравствуйте, отец Георгий. Сами знаете: грамотный я. Зачем спрашивать?

– Здравствуй, Дуфуня. А спрашиваю, ибо в толк не возьму: отчего ты книжек не читаешь?

Это у вас было нечто вроде ритуала. Почти любой разговор с отцом Георгием в его кабинете начинался с этих фраз.

– Читаю я. Вы мне Библию дали, ее и читаю. По второму разу взялся – с первого-то и не поймешь, кто кого родил!

Врешь ты, бродяга!

По второму он взялся...

– Это верно, – одобрительно кивает батюшка. – Вечная книга. Я уж и не упомяну, в который раз перечитываю. Ну а кроме Библии?

– Да не могу я две книги сразу читать – в голове все путается! Разве что газеты... новости разные...

– Ну, о чем пишут в тех газетах?

Стремление отца Георгия приобщить тебя к образованности сейчас было на руку.

– Да вот, к примеру...

Ты полез за пазуху, зашуршал припрятанным до поры номером «Харьковских губернских ведомостей», купленных утром у мальчишки-разносчика на Горбатом мосту.

– Не читали еще, батюшка?

– Нет, не читал.

– Вот здесь, где «Иностранное обозрение».

– А ну-ка, ну-ка...

Батюшка углубился в чтение. А ты украдкой глядел на него со стороны и думал: как удивительно преображаются некоторые люди, когда увлечены делом. Обычно сутулый, худощавый, какой-то нескладный, неустроенный в этой земной жизни, отец Георгий вдруг стал напоминать иконописный лик: обычно мягкие черты лица его осветились внутренним, одухотворенным светом, одновременно затвердевая; выпрямилась спина, и даже в тонких пальцах, сжимавших газету, чувствовалась теперь некая властная сила.

«Небось, когда я читаю, так полным дураком выгляжу, – подумалось невпопад. – Губами шевелю, лоб морщу, в затылке чешу... Глаза тарашу. Вот разве что когда на коня сажусь... Посмотреть бы со стороны! Ну хоть разок!»

Однако зловредная память немедленно отравила удовольствие, подсунув картинку:

Вот ты, увлекшись, горячишь коня; вот за тобой скачет, пытаешься не отстать, молодой облав-юнкер – ай, хорошо скачет, морэ, с душой, с сердцем, как настоящий ром! Не зря учил! Раскраснелся парень, разрумянился парень, глаза у парня горят... У «Варвара»?! у облавника?! Горят?! В жизни не видел! В жизни... А Севастополь, «Пятый Вавилон», где плясал упившийся ротмистр, – не жизнь?

Не твоя, баро?!

В следующий миг облав-юнкер запрокидывается назад в диком, неистовом, безумном хохоте, жеребец под ним встает на дыбы...

Обошлось.

Облав-юнкер отделался сломанной рукой и «нервной горячкой», как сказал доктор. Однако месяца три проваляться в госпитале парню пришлось. А ты получил жесточайшую выволочку лично от начальника училища, полковника Джандиери. Поначалу князь вообще хотел категорически отменить занятия по джигитовке, которые ты вел с недавних пор. Но тебя сумел отстоять у начальства друг ситный, пожилой вахмистр Федотыч – он в свое время и предложил добавить к выездке джигитовку, когда увидел, как ты играючи уворачивался от

трех его лучших учеников. Ясное дело, выездка – это одно, а то, что бывалый ром с конем творить умеет, – совсем другое. «Две большие разницы», как говорят в мажьем городе Одессе. Федотыч – он таки умница, даром что вахмистр из облавных. Сразу смекнул, каким краем твою науку облав-юнкерам на пользу приспособить. Да и ты не возражал. Обидно было бы все, что нажить успел, за собой на тот свет унести.

Пусть хоть ребята попользуются.

Вот один и попользовался – едва заворот мозгов не схватил! С тех пор как джигитовка – Федотыч всегда, рупь-за-два, при тебе. Чтоб не зарывался кучерявый ром, значит. Чтоб не срывал крыши у господ облав-юнкеров. Только и слышишь от него: «Не заводись! Спокойно, говорю!» Одно странно: впервые ты узнал, что люди от скачки с ума сойти могут! И Княгиня, едва услышала, пристала с ножом к горлу: что да как, да с подробностями!

Спрашивал: «Зачем тебе?» – не говорит. Улыбается загадочно.

Рано, мол, сперва сама разберусь...

* * *

– ...Решились, значит, турки. – Голос отца Георгия выдернул тебя обратно из омута воспоминаний. – Искусителю руку правую рубить, а искушенному – голову. Да, жестко магометане рассудили; считай – жестоко. Горько такое читать, Дуфуня, горько.

Все это ты знал заранее – успел в обед проглядеть газету. Руку правую... Машинально опустил взгляд не на свою – на священническую десницу. Узкая рука у батюшки, холеная, почитай, девичья; на пальце безымянном – перстень с аметистом, и еще на мизинце кольцо: сапфир в окружении бриллиантовой мелочи.

Водилась за отцом Георгием страстишка: любил драгоценности. Жалованье копеечное, а исхитрялся, скряжничал, доставал... Крест наперсный – впору владыке. И от державы поощрение: редкая, можно сказать, редчайшая награда для лиц духовных – орден Св. Анны II степени с бриллиантовыми камнями.

А в остальном – бессребреник, гроша лишнего за душой не сыщется. Последнюю рубашку снимет-отдаст, глазом не моргнет, а попросишь камешек заложить в ломбарде, хоть ради дела благого, хоть спасения души для... Откажется. Молчать будет, в землю смотреть. Ясно, что не от скупости, что иное мешает, в цепи кует!

Видать, «драконью болезнь» подцепил отец Георгий на путях земных; по сей день не излечился.

– Так и у нас, батюшка, хрен редьки не слаще. Сами знаете, лучше моего: магу в законе теперь кара куда как легкая положена. Зато крестнику-малолетку – прямиком каторга, если не казнь смертная, в зависимости от тяжести. И все ведь по суду, по новому Уложению о Наказаниях. Согласно решениям власти светской и с благословения церковного.

– Эх, Дуфуня... Возразил бы, да куда мне, грешному, переть против рожна! Прав ты. Но все ж таки – руку рубить! голову!.. Не по-человечески это, не по-христиански.

– Не по-христиански, батюшка? У турок?!

– И опять ты прав. У магометан от веку закон многожды суровей нашего был. Вот и сейчас: Оттоманская Империя решила – значит, весь исламский мир поддержит. Ох, быстро дело дается! Так быстро – я и помыслить не мог. Скоро совсем мажье племя под корень изведут. Тут бы радоваться...

– Да уже, почитай, извели. Но ведь на все воля Божья?

– Верно говоришь, сын мой. Все в руце Божьей. Однако и человеку Господом свобода выбора дана. Чтоб сам мог выбирать меж Добром и Злом, Богом и Противоречащим. А ну отмени сей выбор – что останется? Как Свет узнать, если Тьмы не видел? если сравнить не с чем?

– Вас ли слышу, батюшка? Вы ли обер-старец епархиальный?! О мажьем семени печалитесь?

Беседуя с отцом Георгием – одним из немногих, кому было известно твое настоящее имя и кто мог произносить его вслух, не заботясь о чужих ушах, – ты всегда чувствовал себя не в своей тарелке. Взялся ром таборный с ученым батюшкой споры спорить! Однако и молчать-слушать плохо получалось. Видать, Друц, так тебе на роду написано, душа твоя беспокойная! Вечно ты рылом в лужу суешься: поначалу в мажью науку пошел (Ефрем-крестный ведь силком не тащил!), потом – к «Варварам» в облав-конюхи; теперь вот – в прения богословские со священником лезешь.

Учит тебя жизнь, учит...

Однако отец Георгий бывал только рад подобным спорам. Наконец-то нашел батюшка человека, с коим мог мыслями тайными поделиться. Не давали покоя те мысли отцу Георгию. О, как ты его понимал, бывший лошажник Друц!

Оттого и сошлись.

– Верно говоришь, сын мой. И отцы Церкви нашей так говорят: истощилась чаша терпения Его, воздается наконец по заслугам всем, кто во грехе мажьем погряз. Божьи мельницы мелют медленно – слышал небось? Потому и бьет гнев Его по тем, кто еще только встал на путь неправедный. Есть еще у крестников мажгих надежда на Спасение: искупить грех перед Господом смертью мученической и войти в Царствие Небесное. А закоренелым грешникам, кто в Законе своем пагубном давно погряз, кто сам Искусителем стал, подобно Змию, имя которому – Сатана; тем, кто искусил малых сих, – горе им! Не даст им Господь смерти мученической во искупление, но воздаст за гробом муками вечными!

– Складно оно, конечно, выходит... – с сомнением пробормотал ты, не глядя в глаза батюшке.

– Вот то-то и оно, что складно, – с тяжелым вздохом согласился отец Георгий. – Может, в ересь впадаю? Может, кощунство говорю – но сердцу не прикажешь! Не могу поверить, что на смерти страшные, нехорошие, *незаконные* – воля Его! И не верить не могу: Святейший Синод решение вынес однозначно. А все ж... муторно мне, Дуфуня. Тяжко.

– И мне, – угрюмо кивнул ты, соглашаясь в свою очередь.

– Потому и спешу успеть, пока поздно не стало. Успеть, понять – что вперекос делается? Что мы, дети Адама с Евой, потеряем, если уйдет последний из магов? Станем, потерявши голову, по волосам плакать?! И доплачемся, быть может?!

Ты снова угрюмо кивнул, на этот раз молча. Умеет все-таки говорить отец Георгий, выразить словами муку, что у тебя самого в душе комом горьким ворочается, наружу просится – да не выходит, поперек горла встает. Как у собаки: все понимает, а сказать не может!

– Ведь ты пойми, Дуфуня: это искуc, великий искуc! Не сама магия, не «эфирные воздействия» – грош цена сему соблазну. В другом искуc. В Законе мажьем! В том, как крестный крестнику свое умение передает. Он ведь не учит, не наставляет – он слепок с себя делает, он под копирку пишет, фотографическую карточку проявляет. Представь: узнают о Законе прочие люди? Представь: найдут способ и себе Договор заключать? Будь ты хоть пекарь, хоть доктор, хоть музыкант...

Ты честно попытался представить. Выходило скверно. В смысле – никак не выходило. Чему, собственно, ужасается отец Георгий? Разве что самому Договору? Огонь, где руки горят, сплавляются, – не пекельное ли пламя?

– Молчишь? Молчишь, – сам себе ответил отец Георгий. – Не уразумел, значит. Ну да ладно, я и сам не сразу уразумел. А когда сообразил – так веришь, Дуфуня, на колени упал и возблагодарил Господа, что надоумил он меня, дурака, от греха уберег, от беды великой!

– Верю. Что возблагодарили, отец Георгий, – верю!

Хотя батюшка был младше тебя, почитай, во всех смыслах – язык не поворачивался «тыкать» обер-старцу, как равному. Раньше, когда в Законе был – еще как повернулся бы! Помнишь, на суде: обложил тройным загибом, конвоиры еще по хребту надавали? Зато теперь, после крещения, после училищных будней – робеешь, Друц-лошадник?

Никогда раньше робости за тобой не водилось...

– А вот от какой беды вас господь уберег, батюшка, – сего не понимаю.

– От языка моего длинного да от скудоумия. Я ведь уж совсем было собрался поведать иерархам церкви нашей о сути Договора мажьего! А ну как поддались бы дьявольскому искусу! нашли бы способ меж обычными людьми Договор заключать!

– Искус?! – изумился ты. – Не с чертом ведь Договор подписываем – друг с другом! Вон и мы с Княгиней, когда на службу государственную нанимались, особый контракт подписывали. Вы же его и визировали, как епархиальный обер-старец! Значит, церковь одобряет...

– Ерунду молотишь, Дуфуня! – Отец Георгий, разгорячившись, даже слегка пристукнул кулаком по столу, что за ним водилось крайне редко. – В том-то и весь страх, весь ужас, что церковь одобряет! одобрит! возражать не станет! А государство – тем паче. Ты пойми: ежели узнают да способ найдут, как без учебы человека всему, чему угодно, научить, будь он хоть лоботряс распоследний, хоть тупица, – многие за это ухватаются. Отец сыну бесталанному дело передаст; начальник себя на подчиненном тиснет! А по-старому вскоре никто ни учиться, ни учить не захочет! Понял?

– Простите, отец Георгий, дурака: не понял! – честно признался ты. – Ну, будет пекарь-лекарь своего подмастерья через Договор учить... В чем беда?

– Да неужто не понимаешь?!

Лицо батюшки пошло красными пятнами. Но одернул себя отец Георгий:

– А ведь верно! Не понять такого сразу; я и сам, пока дошел... Видишь, Дуфуня: плохой из меня учитель, плохой толкователь. А будь меж нами Договор – все б ты понял! И верно меня Господь вразумил: нельзя такого людям открывать! Если даже ты маг в законе... Давай иначе подойдем: знаешь ведь, не бывать оттиску лучше оригинала! Даже вровень не получится! Ты, Валет Пиковый, своего ученика только на Валета выучить сможешь; и то – в лучшем случае.

– Вряд ли, батюшка. Данька Алый – он выше Десятки и не поднялся бы, останься жив. А перед ним...

– Тебе б, Дуфуня, архивы уголовные полистать... Знаешь, что, к примеру, Валеты козырные сорок лет назад творили? А пятьдесят? А в начале прошлого века? Сейчас такое не всякому Королю под силу! Мельчает порода мажья, уходит сила водой в песок. Станут иные люди через Договор ремеслам-искусствам учиться – конец людям! В дикость скатимся! Теперь понял?

– Понял, – с трудом выдавил ты.

Ох, боже ж ты мой! – смог наконец представить. Неприглядное зрелище выходило, глаза б не видели. Не Божий промысел, никак не Божий. Вот только...

И не заметил, как вслух заговорил.

– Так может, не маги виновны, отец Георгий? Не сила мажья, не «эфирные воздействия» – а сам Договор? Может, в нем грех? Хоть и не кровью подписываем, душу не закладываем – а на огне адском все одно скрепляем? Потому стоять старшему Козырю за левым плечом крестника – до окончания Договора? Глядишь, если бы маги учеников своих по-другому учили, как обычные люди друг дружку, – и греха бы в том не было?

Отец Георгий ошарашенно уставился на тебя. Хотел что-то сказать – но ты, забыв на миг про епархиального обер-старца, полез на полку за Библией, раскрыл, непослушными пальцами принялся листать шуршащие страницы.

– Вот... сейчас, сейчас найду... Ведь и Христос чудеса творил! Тысячи пятью хлебами кормил, воду – в вино... Лазаря воскресил! Сейчас бы его мигом: трупарь, некромант! – и в петлю!

– А тогда – на крест. – Ровный голос отца Георгия окатил тебя ведром ледяной воды. – Ты, Дуфуня, и сам не знаешь, в какие язвы персты вложил. Над этим вопросом лучшие богословы не первую сотню лет головы ломают. Одни ересь говорят, как ты: магом был Иисус, великим магом – за то и пострадал! Когда судили Его властью светской и духовной, когда на Голгофу отправляли – это первый суд над магом был, первая казнь за «эфирное воздействие». А значит – ничего в ворожбе богопротивного нет, раз и сам Сын Божий...

Отец Георгий не договорил, торопливо перекрестился.

– Опять же, святые чудеса творили...

– Вот! – не удержался ты. – Ну, Господь, я понимаю... Все в Его власти, не нам судить деяния Его!.. Но святые-то – люди!

– Все верно, сын мой, люди они были. Оттого и возражают еретикам богословы-ортодоксы: творились чудеса именем Божиим и во славу Его. Маг же творит эфирное воздействие от своего имени, сугубо корысти ради. Хоть своей, хоть чужой – но кто-то так или иначе выгоду мирскую от его волшебств имеет. Святые от чудес пользы личной не имели. Потому и было это – чудо Господне; а мажья работа – ворожба мерзкая, богопротивная, от дьявола идущая. Тут Православная церковь, как сие ни удивительно, полностью сходится и с католиками, и даже с авраамитами: последним всякая ворожба запрещена строжайше, поскольку искажает замысел Творца. О магометанах я и не говорю – Магомет чудес не творил, ему их после чернь приписала...

Сказано, как отрезано. Не тебе, ром новообращенный, бибахтало мануш,² с мудрыми богословами тягаться! Верой, разумом, рылом не вышел, баро!

– А вот слова твои про Договор... – Священник говорил раздумчиво, словно ты давно ушел восвояси. – Что в нем самом грех, а не в ворожбе... ты небось и сам не понял, что сказал-то! Сколь лет я над этим бьюсь, сомнениями мучаюсь, истину найти хочу – а о таком не думал! И ни у кого из богословов, ни в одном трактате о магии не встречал! Ты даже не понимаешь...

– А вы, отец Георгий, понимаете?.. Добрый вечер, отцы-схимники!

* * *

Чуть насмешливая полуулыбка. Лукавый блеск зеленых глаз сквозь паутину вуалетки, приспущенную с модной шляпки. Строгий, темно-серый костюм в английском стиле – ай, постарался умелый портной Яшка Шмаровозник, нарочно для поздней беременности шил-кроил! Вроде бы и пузо огурцом, а жакет даже притален слегка, и юбка складками шелестит, кокетничает. Никогда не скажешь, что на восьмом месяце баба! Опять же: черный лак туфельек с изящными серебряными застежками-мотыль-ками...

Большая барыня в гости зашла!

...В дверях стояла, войдя неслышно (действительно неслышно, в отличие от вахмистра Федотыча), несмотря на звонкие каблучки, твоя крестница.

Акулька-Акулина.

Нет. Теперь – Сохатина Александра Филатовна, в девичестве Вишневская, представительница Малороссийского отделения Всемирного Общества защиты животных в Харьковской губернии, студентка подготовительного отделения Харьковского ветеринарного института.

² Неудачник, человек без счастья (ром.).

«Атеистка рыжая, бесстыжая», – добавил ты про себя.

И мимо воли улыбнулся.

При этом почувствовав, казалось бы, совершенно неуместную отцовскую гордость.

III. Рашка-княгиня, или Безумству храбрых поем мы песню...

*Женица безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая
сидит у дверей дома своего на стуле, чтобы звать проходящих
дорогою...*

Книга притчей Соломоновых

– ...и вы представляете, дорогой мой князь! Петруша Скирский, молодой семинарист, подыскал себе невесту и место в Мироносицкой церкви. Остановка только за рукоположением! Идет он к экзаменатору ставленников, небезызвестному вам ключарю Гнедичу...

– Гнедичу? Григорию Гнедичу, протоиерею? О котором писали в «Губернских Ведомостях»... м-м-м, дай бог памяти... «Особенность экзаменов его состояла в том, что они обязательно должны были сопровождаться приношениями в виде рому, вина, чаю, сахару и т. п. Денег, впрочем, не брал»?

– Ах, как интересно! Продолжайте, господин профессор!

– Так вот, является наш семинарист, наивная душа, к Гнедичу с пустыми руками. Ходит день, другой, третий, но толку нет. Наконец ему на ушко разъясняют суть дела. Тогда Скирский берет пакет, складывает туда бутылку рому, бутылку мадеры, штоф кизлярки и столько-то чаю с сахаром. Гнедич-ключарь осмотрел приношение, нашел его удовлетворительным и, назначив юноше на утро, как человек аккуратный, пишет себе на клочке бумаги: «От П. Скирского 1 бут. рому, 1 бут. мадеры» – и т. д. И по рассеянности забывает сей злосчастный клочок в середине прошения Скирского, на коем сам начертал максимально благоприятный отзыв!

– Ах! Какой конфуз!

– Илья Семенович, я надеюсь, этим не закончилось?

– Что вы, князь! Наутро семинарист с прошением и отзывом спешит к преосвященному владыке Иннокентию. Последний читает отзыв и обнаруживает запись! – о ужас! Семинарист запирается не стал, поведал все как есть...

– И что?! Не томите, господин профессор!

– Ну, характер владыки всем известен. Гнедич владычным указом от должности экзаменатора освобожден, а сама должность упразднена, яко излишняя.

– Да-с, суров владыка...

* * *

Скучаешь, Рашка?

Нет.

Ждешь.

Россыпь снежно-белых столиков трудами слуг выросла под ближними тополями – в мае от пуха не продохнешь, но рука не подымается срубить красавцев. Гости раскраснелись больше от приятной беседы, чем от наливки из вишен; нет-нет, а каждый то и дело поглядывает на дорогу: не едет ли маэстро Сохатин?

Все ждут Феденьку.

А ты – больше всех.

Соскучилась?

Дальше, в стороне от гостей, на веранде дома сидит в кресле молоденькая девушка; за левым плечом девушки, с головы до ног в черном, вороной примостилась матушка Хорешан. Истинная *дедакаци*,³ она свято чтит традиции рода Джандиери и говорит крайне мало, почти всегда на родном языке. В этом она соперничает с твоей камеристкой, зачастую одерживая убедительную победу. Легко представляется: дикие персы-таджибуки перед дворцом Чехель-соттун терзают пожилую женщину и отступают, не добившись от нее стога. История родины князя изобилует подобными случаями; равно как подобными женщинами.

Сама родина такова.

Матушку Хорешан, свою двоюродную тетку, князь перевез с Кавказа через восемь месяцев после вашего прибытия в Харьков, едва лишь приобрел дачу здесь, в Малыжине, за чертой города.

Перевез вместе с твоей камеристкой – и, что гораздо важнее, со своей единственной дочерью Тамарой.

Этих трех женщин ты про себя звала «семьей Шалвы», за неимением более подходящего слова.

Словно услышав твои мысли, девушка в кресле сладко выгнулась, забросив руки за голову. Летнее платье натянулось, подчеркивая грудь, излишне обнажив стройные щиколотки – поза, мало приличествующая барышне из знатной семьи. Не странно ли, Княгиня! – тебе пришла на ум давняя история, рассказанная синагогальным служкой в Житомире. О некоей юной авраамитке, которую деспот-бургомистр велел за ведьмовство привязать к дикому жеребцу. Последним желанием несчастной было получить две булавки: ими она приколола подол прямо к ногам, дабы не обнажиться во время казни пред чужими людьми.

Но красавицу Тамару приличия интересовали примерно в той же степени, как и благотворительность в пользу голодающих эфиопов.

Княжна не была бесстыдницей.

Отнюдь.

Княжна была слабоумной.

Помнится, при вашем первом знакомстве ты испытала изумление, едва ли не физическую боль: никак не удавалось почувствовать девушку. Любой посыл даже не разбивался – увязал в безответной трясине. Как если бы вместо Тамары перед тобой стоял жандармский офицер из «Варваров». Сходство усиливалось тем, что внешностью княжна очень напоминала отца. Сам отец с отменной вежливостью представил вас друг другу – «Моя дочь, Томочка. А это, родная, моя новая жена. Если хочешь, зови ее просто Эльзой...» – ты же радушно взяла девушку за руку и едва удержалась, чтоб не вскрикнуть.

Радушие за равнодушие.

Рука была абсолютно *пустой*.

У людей так не бывает. Девушка ничего не ответила, глядя мимо тебя; потом, когда ты отпустила ее руку, Тамара улыбнулась своим мыслям и медленно пошла прочь, сопровождаемая матушкой Хорешан.

– Не обижайся, Эльза, – тихо сказал Джандиери, дернув щекой. – Сама видишь...

Эльзой вместо старой привычной «Раисы Сергеевны» он стал называть тебя сразу по приезде. Ни разу не сбился, не оговорился, не подмигнул со значением – любому на его месте была бы простительна ошибка, любому, но не Циклопу. Впрочем, каждое из этих имен имело равное право на существование – никакого права.

Мишура.

– Я не обижаюсь, – ответила ты.

³ *Дедакаци* – достойная женщина, дословно «мать-мужчина» (груз.).

Ты действительно не обижалась. Нельзя обижаться на тополь, на ветер, на иволгу в ветвях, если они забудут отозваться на твое приветствие. Нельзя обижаться на бедную, ни в чем не виноватую Тамару Джандиери.

Тогда ты еще не знала, что полюбишь несчастную. Ты думала, что девушка – немая, в придачу к слабоумию. И впрямь, больше двух месяцев ты не слышала от нее ни слова. Дача, купленная князем по случаю, раньше принадлежала Голицыным и скорее походила на обустроенную усадьбу; здесь вполне можно было жить круглый год. В получасе езды, на месте другого своего имения, добросердечные Голицыны учредили дом призрения для сирых и убогих – ты полагала это grimасой судьбы. Ведь правда, Княгиня моя! – богадельня там, и богадельня здесь, вопрос лишь в позолоте; вернее, в ее наличии или отсутствии.

Тебе казалось, что у вас много общего: убогая Тамара Джандиери и убогая Рашка-Княгиня, две искалеченные птицы, запутавшиеся в силках.

Ты ошибалась.

– Здравствуйте, Эльза, – августовским душным и пыльным утром бросила тебе на бегу Тамара. И во весь дух припустила в сторону пруда, вынуждая матушку Хорешан ковылять следом, крича что-то по-грузински. Тебе некогда было вслушиваться в смысл чужих слов, некогда и незачем. Ты просто смотрела на беглянку и ее верную дуэньку, а в голове пойманным воробьем билась мысль:

«Она не немая! Она разговаривает!...»

Тамара разговаривала еще полторы недели. Демонстрируя наличие здравого смысла и рассудительности. К концу месяца она замучила тебя просьбой сыграть ей в очередной раз «что-нибудь из Шопена», а в начале сентября опять превратилась в растение с тихой, печальной улыбкой на лице.

Примерно тогда же в городе заговорили о сумасшествии полковничьей дочери. Сочувствовали, сплетничали; перешептывались. Записной сердцеед Мишель Данзас, драгунский офицер и племянник вице-губернатора, даже пошутил однажды в обществе, что быть ему непременно зятем Джандиери, ибо отродясь не любил Мишель умных женщин.

Циклоп прислал Данзасу вызов на дуэль. Шутник в качестве оружия выбрал саблю, коей, по слухам, владел превосходно, и был во время поединка хладнокровно изуродован полковником: Джандиери превратил веселого красавчика в ночной кошмар раньше, чем успели вмешаться секунданты.

Более шутить не пытались.

Даже сплетни о тебе, Княгиня, теперь предпочитали рассказывать вполголоса, с оглядкой через плечо.

* * *

– Едут! Едут!

Послышался частый перестук копыт, шуршание колес по листьям, вдоволь усеявшим домашний парк; от ворот донесся утробный лай – дог Трисмегист, мраморная громадина, в часы покоя больше похожая на статую, если кого любил, то любил беззаветно.

– Едут!

Ты с замиранием сердца следила, как, прыгнув с брички и помогая сойти жене, к вам обращивается – он.

Федор Федорович Сохатин.

Феденька...

«Леший! Федюньша-лешак, неприятная сила! Ишь, страшной! Беги-и-и-и!...»

Как всегда, он играл какую-то свою, увлекающую его целиком, без остатка, роль. Способный с равным шиком носить фрак и гусарский доломан, на этот раз Феденька вырядился по

старой, принятой меж здешними мещанами, моде середины прошлого века. Сейчас так одевались, пожалуй, лишь знаменитые кулачные бойцы, собираясь в излюбленном месте: за хоральной синагогой, на площади по Мещанской и Белгородской улицам.

Ишь ты! – могучие плечи до треска в швах распирают жупан: короткий, синего сукна, подпоясан в три слоя алым кушаком.

Вот вам! – шапка из сивой смушки лихо сбита набекрень.

А если?! – черные плисовые штаны с напуском заправлены в сапоги, начищенные до умопомрачительного блеска.

И наконец: крепко сжатая зубами, дымится маленькая, в серебряной оправе трубочка.

Щеголь-обыватель родом из прошлого.

Ты помнила – точно так же Феденька был одет, когда на третьем ударе свалил прославленного Ковалю, студента медицинского факультета, а потом в гостинице Афанасьева напоил проигравшего «в лежку» и на собственных плечах доставил домой, на другой конец города.

– Федор Федорович!

– С приездом!

– Александра Филатовна! Все хорошеете, милочка!

– Маэстро!..

– Стихи! новенькое! почитайте!!!

Сукин сын Федор разом изменил походку: не гоголем, косолапым топтыгиным расшаркался перед обществом, приложил ладонь к сердцу, мигом став похож на актеришку-бенефицианта из провинциальной труппы.

Воздев очи горе, задекламировал с томным нижегородским прононсом:

– Закат распускался персидской сиренью —
О час волшебства!
И шкуру оленью, испачкана тенью,
Надела листва.
Река истекала таинственной ленью...

Помолчал.

Посерьезнел лицом, обвел присутствующих медленным, тяжело-ощутимым взглядом.

И без шутовства, твердо и спокойно, вбил гвоздем последнюю строку:

– ...пустые слова.

Раздались аплодисменты.

Разумеется, никакого эфирного воздействия Федор себе не позволил: твой запрет, Княгиня, был для него свят. Крестнику до выхода в Закон самому не работать – да только здесь ничего такого и не понадобилось.

Они и без «эфира» твои, Феденька...

Акулька-Акулина (вернее, по паспорту ныне Александра Филатовна!) к тому времени уже проскользнула к ближайшему столику, села с краю и превратилась в невидимку. Умела, когда хотела. Свою беременность она носила легко, малозаметно для окружающих, к популярности мужа относилась с изрядной долей иронии – по счастью, не проявляемой на людях. Откинув вуалетку назад, молодая женщина пригубила глоток грушевого квасу, излюбленного напитка, всегда готового к ее приезду в Малыжино.

– Завидую, милочка, – так, чтоб слышали все, шепнула ей дородная супруга Ильи Семеновича, университетского профессора с кафедры римского права. – Экий у вас благоверный!.. Душевно завидую.

– И правильно делаете, – звонко отозвалась крестница, напрочь отбив у госпожи профессорши охоту вести светские беседы. – Я бы на вашем месте тоже завидовала.

После чего послала обиженному профессору воздушный поцелуй, превратив обиду в удовольствие.

Заметки на полях

*И совсем нетрудно рассмотреть, что у профессорши в глазах:
...курица.*

*Ходит по двору, лапой скребет, зернышки выискивает: склонит голову
набок, посмотрит одним глазом, другим – хороша ли находка? Ах, и
это, похоже, с изъязом! Ко-ко-ко, ко-ко-ко, жить-то стало нелегко! Или
остановится, украдкой на петуха взглянет – того кочета с гребешком набок,
что поодаль разгуливает. Всем хорош петух, жаль, староват уже.
Вот соседский...*

* * *

Федор же, купаясь в восхищенных приветствиях, подошел к тебе, Княгиня. Пал на одно колено; поцеловал в ладонь, тронул горячими, твердыми губами.

– Ну что твой Крейнбринг? – спросила ты, погладив вороные кудри.

– Меценатствует, тетя Эльза. – Федор с напускной скукой развел руками, но по сияющим глазам его читалось легче легкого: фабрикант, пасынок Муз, раскошелится больше, чем предполагалось ранее.

– Надолго к нам?

– До вечера, тетя Эльза. А может, заночуем. Не прогоните на ночь глядя? Едут дроги по дороге, стоит тетя на пороге...

– Глупости несешь, пиит! – вмешался Джандиери, улыбаясь шире, чем делал это обычно. Ты насторожилась, ибо в придачу к неестественной улыбке господин полковник еще и снова пустил трещинку по краешку голоса. Второй раз за день, чего раньше не случалось. Циклоп, не часто ли?

Впрочем, кто заметит, кроме тебя?..

– Мало что не прогоним! Силой заставим остаться! Даром ли я по жандармской части?!

– Недаром, дядя Шалва. Все знают – недаром.

Федор протянул Джандиери руку. Мужчины обменялись крепким рукопожатием; это не удивило общество – собравшиеся знали, что племянника своей второй жены, Федора Сохатина, не имеющий сына-наследника князь любит больше всех.

В завещании небось ему много чего отпишет.

Для тебя не было тайной, что Феденька, проходящий по документам твоим племянником, для здешнего высшего света числится в твоих незаконнорожденных сыновьях. «При первом муже прижила на стороне! – шептались втихомолку. – От этого!.. от гусара Хотинского!.. Да какого гусара! – от жокея-англичанина! А записала племянником, чтобы держать при себе, не позорясь!..»

Эти слухи тебя вполне устраивали.

Более того: они устраивали Джандиери.

– Федор Федорович! – вмешалась профессорша. – Умоляю: «Балладу призраков»! Будучи в неведомогании, пропустила ваш вечер у графини Трубецкой... умоляю!..

– Просим! – зашумели гости. – Федор Федорович! Просим!

Ты поймала Феденькин взгляд: петь ли, Княгиня?
Кивнула.

А он, мерзавец, опрометью ринулся к бричке, зашарил где-то в ногах и извлек... мандолину. Старую, лаковую. Победно вскинул над головой, вызвав у окружающих стон восторга; вернулся и подал инструмент тебе.

– Ум-моляю, тетя Эльза! Будучи в недомогании после вечера у госпожи Крейнбринг... мадера, потом горилочка-матушка!.. пальцы, знаете ли, дрожат...

Нет, профессорша так и не сумела рассердиться на своего кумира. Хотя старалась вовсю: поджимала губы, трясла мопсовыми брылями. Не вышло. А ты, едва тронув мандолину, поняла: настроена заранее. Под тебя; под твою хватку, под твой характер.

В дороге, что ли, старался?

Одной рукой правил, другой настраивал?

Конечно, ты предпочла бы альгамбрскую гитару или, на худой конец, лютню – но выбора не было. Сама ведь кивнула, никто в затылок не толкал. Теперь играй, «тетя Эльза». Брюзжание было напускным: на самом деле ты любила вот такие дни, вечера, собрания, когда могла видеть Феденьку, играть для него, кого считали твоим сыном едва ли не все... Включая тебя, Княгиня.

Ведь правда?

Правда. И можно в такие минуты не думать о главном: скоро Федор с женой выйдут в Закон.

Скоро – все.

Глупая старая Рашка... А ты помнишь свой собственный выход в Закон? О да, конечно, ты не забудешь его до самой смерти и после смерти не забудешь...

Давай не забывать вместе?

* * *

...знать бы еще, почему ты мне запомнилась тогда?

Шла как все.

Глядела как все.

Муха на липкой ленте – как все.

Может быть, дело в другом: ты шла не оборачиваясь. Семнадцатилетняя девчонка, маленькая дрянь, ты даже не пыталась тайком глянуть через плечо: где фея-крестная? по-прежнему стоит ли за тобой?!

Будто знала: стоит.

Здравствуйте, Эсфирь Гедальевна; как поживает ваш папа в Житомире? По-прежнему заверяет реб Ицхок-Лейбуша, что, во-первых, он давно отрекся от блудной дочери, во-вторых, дочери у него отродясь не было, и, в-третьих, жена ночами плачет, а у него тоже сердце, а сердце кровью обливается?.. Ладно, Эсфирь Гедальевна, вероотступница дражайшая, плюньте и разотрите. Что, привели ко мне вашу девочку? Ой, это же не девочка, это свежий розанчик, не сглазить бы!.. извините, у меня сегодня нет сил на шутки, и на смешной акцент, от которого вы, милая Эсфирь Гедальевна, Дама Бубен, давным-давно избавились, тоже нет сил. Стойте себе за спиной вашей девочки, которая на вас даже оглядываться не хочет, стойте молча и не обращайтесь внимания на мое брюзжание...

У меня сегодня хандра.

Я люблю свою хандру. Я лелею ее, баюкаю, радуюсь ее приходу, ибо обычное мое состояние носит другое имя – отчаяние. А сегодня я ворчу по поводу и без, но на самой окраине брезжит краешек солнца, встающего на западе: завтра все будет иначе, завтра, или уже сегодня, к вечеру, или прямо сейчас...

Я жду так долго, что время успело потерять для меня свою ценность, обрести и вновь потерять.

Жаль.

Жаль времени.

Как тебя зовут, девочка? Рашель? О, хорошее имя! Старое, выдержанное – не имя, вино. И служил Иаков за Рашель семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Впрочем, детка, я не Иаков, мне недосуг служить за тебя семь лет (семь?! песчинки насмешливо текут меж пальцев...); и надеюсь, ты не обидишься, если я скажу, что не люблю тебя.

Впрочем, это не помешает мне войти в тебя, и познать тебя, и забиться в самый темный уголок тебя без надежды когда-нибудь освободиться – тысячи моих темниц, вы все приходите ко мне сами, и я сам проверяю крепость ваших стен, надежность запоров, кандалы и цепи, звено за звеном, стык за стыком...

Ну давай, для начала я зажгу тебе огонь – как всем.

Иди.

Пора бы привыкнуть, но не получается. Больно. Больно видеть этот огонь, этот обычный лесной пожар – когда раньше (раньше? смешное слово...) я мог вострубить, опрокинув на землю буйство града и пламени, смешанных с кровью, вздыбить косматую гриву Кобыльей Пасти, символа конца света, ударить оземь громовыми перунами, как мужик в запале хлопает драной шапкой... и только после этого, рассмеявшись, сказать:

– Иди!

Вот пытка: коротать вечность, мельчая изо дня в день.

И тысячи коршунов, не ведая, что творят, клюют мою печень – унося куски с собой. А печенка-дура отрастает заново, отрастает; а коршуны плодятся и размножаются, живя аки птицы небесные – не жнут, не сеют, но кормятся...

Ах, ты уже прошла?

Вижу, вижу: дождь пролился с небес, и ветер разметал пламенные языки, и угли шипят по-змеиному в грязи, под босыми ногами. Кстати, почему вы всегда приходите ко мне босыми?.. Ладно, потом.

Я так понимаю, ты и сейчас не обернешься? Ну хотя бы утоли тщеславие, глянь искоса: эй, Эсфирь Гедальевна, Фира Кокотка, хороша ли я?! достойна ли своей крестной?! Не хочешь? Ну и ладно. Понимаешь, девочка, ты у меня не одна – увы! – вас сейчас человек пять, вы идете ко мне разными дорогами, желая войти в Закон; вы идете, не видя друг друга, уверенные в своем одиночестве, в своей исключительности – а я сижу, как дурак, на перекрестке и жду вас, заранее зная: вотще.

Хорошее слово: «вотще»... Дурацкое слово, проклятое, и замечательно, что смысл его забывают помаленьку.

И без того на свете слишком много слов.

Лучше, детка, я примусь тебя пугать. У-у, бяка-кулебяка! – пять бродяг, да на большой дороге, да на твою лилейную девственность, да рожи пьяные, небритые, у одного нос провалился, ноздри торчат...

Страшно?

Не страшно?!

Зато мне куда как страшно: после синеволосых демонов Сай-Кхона, после Желтого дракона Кейнари и вечно голодной мрази из глубин Мира Скотов, после якшей с вывороченными глазами – бродяги. Сифилитики паршивые. И не на душу бессмертную покушаются; на девственность! Я не виноват, Рашка, я просто могу только то, что можете вы, что могу я-в-вас – а что я могу?!

Я – Дух Закона.

Смрадный, застоявшийся дух... Будь я проклят за свое открытие!.. Ах да, я ведь проклят. Иногда забываю; старый стал, в голове сквозняк. Я – Дух Закона, а вы все – буквы, буквы, буквы, в коих пребывать мне вечно, линия и выцветая с каждым новым переписчиком: краски нынче дороги, перья ветшают, рука дрожит с бодуна...

Пылится в запасниках оригинал, смотрит на копии в картинных галереях... снимите, паскуды! сожгите! – меня, их, но не надо вот так! Моя б воля, ты бы шла ко мне в сиянии молний и зареве далеких пожарищ, плащ из кожи нетопыря бился бы за твоими плечами, а наверхие посоха светилось в ночи рубиновым ромбом! Будь моя воля... нет у меня воли, была да вышла, и у тебя отныне не будет – я не про острог, хорошая моя, я совсем про другое...

Дура.

Ну дура и есть.

Идешь, не оглядываешься, а мои бродяги (у-у! стр-р-рашнючие!) сзади шапки ломают, кланяются в пояс:

– Спасибочки, мил-сударыня! Век не забудем! ноги мыть, воду пить...

Кто их знает, чего они не забудут, что ты им показала мимоходом?.. проглядел я. Проглопал глазами.

Неинтересно.

Где хандра? Здравствуй, отчаяние!

...и когда ты приблизилась (чем я загораживал тебе путь? забыл...), когда встала напротив, стараясь глядеть мимо меня – что, противно? да?! терпи!!! – я пустил карточную колоду веером.

Шестерки, дамы, короли... и у всех карт одна рубашка – своя, та, что ближе к телу.

– Тянуть будешь?

– Буду.

Тонкая рука двинулась наперерез, но я ловко убрал разноцветный веер.

Последний вопрос.

Вопрос, ответ на который известен заранее.

Вы всегда отвечаете одинаково – вы, гордые, окрыленные, достигшие вершины, с крестными за спиной, которых ни за что не согласитесь предать; вы... но я должен попробовать.

Опять и опять.

Без надежды.

Лбом в стену.

– Скажи, девочка моя: может быть...

Ты уходила, Дама Бубен, будущая Рашка-Княгиня, неуклюже скрывая гордость – я! Дама! как Эсфирь Гедальевна! вровень! – ты уходила, а я оставался.

Смотрел тебе вслед.

Видя разницу между Дамой прошлой и Дамой настоящей; видя и больше всего на свете мечтая ослепнуть.

Но глупо – ибо вы уходите, а я остаюсь, уходя с каждым из вас; вы зрячие, вам так кажется, вы всегда отвечаете одно и то же, а значит, мне никогда не ослепнуть.

Шут ты гороховый...

Ты – это я.

* * *

Струны больно толкнулись в пальцы.

Смирили норы, разбежались в разные стороны, путаясь диссонансами в траве; ты и сама плохо заметила, когда именно заставила гулкое эхо откликнуться в вышине – словно не на

парковой лужайке, словно в зале играла, в сводчатой зале, где окна – витражами, где факелы – лохмами огня, где за длинным дощатым столом (эшафотом? опомнись!...) – лишь тени, тени, тени...

Призраки.

...я – призрак забытого замка.
Хранитель закрытого зала.
На мраморе плит, в тишине нерожденного слова,
Храню я остатки былого,
Останки былого...

Феденька вступил тихо, почти беззвучно. Случайно звякнул графин о рюмку – Илья Семенович налил было себе вишневки, да испугался звона, отдернул руку, с удивительным для неуклюжего профессора изяществом поставил графин обратно.

Капля наливки в хрустале подумала-подумала и обернулась каплей крови.
Запеклась.

Лишь Джандиери осмелился, приблизился к перилам веранды. Оперся, стал смотреть, слушать издали. Губу покусывал, полковник.

А за его спиной – дочь Тамара.

Мимо глядит.

– Когда-то я пел в этом замке.
И зал в изумлении замер.
А там, у далеких, ковровых – проклятых! – покоев
Стояла хозяйка,
Стояло в глазах беспокойство.

Я – призрак забытого замка.
Но память мне не отказала.
И дрожь Ваших губ, и дрожание шелка на пальцах
Врезались звенящей струною
В подушечки пальцев...

Да, врезались. Трижды тебе доводилось аккомпанировать Феденьке «Балладу призраков», и трижды после этих слов пальцы переставали тебя слушаться, Княгиня. Какая-то другая правда, иное мастерство входили в них; тягучий, шотландский напев возникал сам, мимо воли – ты никогда не играла его, кроме этих редких случаев, и взявшийся ниоткуда сквозняк принимался шалить с прядкой волос у виска.

Что ты с ними со всеми делаешь, Феденька?

Что ты делаешь со мной?!

Что я, Дама Бубен, с тобой сделала-сотворила?!

– Вы помните, леди, хоть что-то?
Задернута жизнь, словно штора.
Я адом отвергнут, мне райские кущи не светят,
Я – призрак, я – тень,
Наважденье,
За все я в ответе.

В прошедшем не призраку рыться.
Ваш муж – да, конечно, он рыцарь.
Разрублены свечи, на плитах вино ли, роса ли...
Над телом барона
Убийцу казнили вассалы.

Будто повинуюсь темному приказу, завыл Трисмегист. На луну, которой не было в дневных небесах; над покойником, которого не было здесь, на даче, меж светскими, живыми людьми.

А в руках Федора возникла детская трещотка из липы. Сошлись ребристые грани, простучали каблучками по плитам, громыгнули подошвами тяжелых сапог; ветер раздернул бархат портьер, и вот, еле слышно – скрип открываемой двери.

Шаги.

Живые так не ходят.

– Теперь с Вашим мужем мы – ровня.
Встречаясь под этою кровлей,
Былые враги, мы немало друг другу сказали,
Но Вас, моя леди,
Давно уже нет в этом зале.

Мы – двое мужчин Вашей жизни.
Мы были, а Вы еще живы.
Мы только пред Вами когда-то склоняли колени,
И в ночь нашей встречи
Вас мучит бессонница, леди!..

Поодаль нервным контрапунктом возник ритм. Даже не глядя в ту сторону, продолжая терзать струны мандолины, ты знала: Акулька пальцами по краешку стола стучит. Акулька-Акулина, рябая девка-егоза; Александра Филатовна, маленькая женщина, пред которой весь персонал харьковского Зоологического сада на цыпочках ходит, – да-с, господа хорошие, стучит пальцами.

Постукивает.

Легко-легко.

А мнится: мадридские кастаньеты вплелись в хор. И сразу зябко вздрогнули плечи, чуя дальний танец, стук лег на стук, вспенивая журчание мандолины памятью об ушедшей, почти забытой, – бывшей! – жизни, что стала болью памяти.

Спасибо за боль.

– ...вокруг Вашей смятой постели
Поют и сражаются тени,
И струны звенят, и доспехи звенят под мечами...
Пусть Бог Вас простит,
Наша леди,
А мы Вас прощаем.

В последний раз скрипнула трещотка.
В последний раз отозвались тонкие пальцы на краешке стола.
В последний раз всхлипнула струна.

Все.

* * *

В тишине, в молчании покинула кресло Тамара Джандиери, кукла восковая. Спустилась с веранды, растоптала зелень травы, червонное золото листьев. Каркнула за спиной матушка Хорешан, следом порхнула – опоздала.

Вроде бы и медленно шла юная Тамара, плыла случайным облачком, а догнать-упредить не вышло.

Встала княжеская дочь перед Федькой Сохачом.

Тамара пред Демоном.

И ты, Княгиня, ты тоже опоздала. Все наоборот вышло; как в жизни не бывает, не должно быть. Твердо взяли девичьи ладони парня за щеки; наклонился Федор, себя не помня, к безумице; слились губы с губами.

Надолго.

Накрепко.

А когда опять выпрямился парень, то глянул туда, где звонким клинком взвилась у стола Акулька-Акулина, жена законная, любимая. Ревнивая – хуже Отеллы-мавра, каким его Томмазо Сальвини-отец играл. Кто в тягости? кто на сносях?! я?! да своими руками!.. задушу!

Плечами Федька пожал – аж жупан едва не треснул. Не виноват я. Веришь? И что сейчас делать, не знаю.

Не виню, возвратился молчаливый ответ. Верю. И отдать – не отдам.

Да только перехватила Тамара Джандиери те взгляды-разговоры на лету. Была девушка-красавица, умом скорбная, стала птица хищная. Вместо когтей, вместо клюва – нож серебряный, с ближнего стола подхваченный. Пошли они навстречу: рыба-акулька, чудо-юдо морское, зубастое – и орлица горная, клюв-когти во все стороны. Вовсе без ума пошли: к чему сейчас двум лютым бабам ум? слова? приличия?!

Не дойти Тамаре до врагини. Закружил отец дочку любимую; перехватил Джандиери кровь свою порченную на полпути. «Браво!» – смеется. «Ай да Томочка!» – смеется. «Наша кровь!» – смеется.

Гляди, Княгиня! – тебе б Акульку держать-успокаивать, а ты иного насмерть перепугалась. Никогда раньше не смеялся так полковник-Циклоп: взалхлеб, себя хохотом расплескивая. Где и научился? зачем? к счастью, к беде ли?!

Гости вид делают, что все в порядке. Гости – они люди умные.

Им – разъезжаться, вам – оставаться.

Ваше дело.

* * *

Еще через час, когда беда поутихла, сыграла ты для гостей на мандолине.

Помнишь?

Чтоб языками в городе не трепали.

IV. Друц-лошадник, или Зверская дамочка по кличке Акула

*Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое; и я буду иметь, что
отвечать злословящему меня.
Книга притчей Соломоновых*

Оказалось, в крошечном кабинетике отца Георгия вполне может уместиться еще один гость; вернее – гостья.

Впрочем, выяснялось это далеко не в первый раз, а сейчас Акулина, прежде чем уместиться, развила бурную деятельность. Вскипятила на кухне чайник (с самоваром возиться дольше!); заварила крепчайший напиток, привезенный Русским чайным товариществом «Караван» с далекого, почти сказочного острова Ланки. Сам батюшка не мастак был чаи гонять, заваривая какую-то невнятную траву, по цвету-вкусу более всего напоминавшую смесь ржавчины с древесными опилками, – но вы с Акулиной это дело быстро исправили, наставив отца Георгия на путь истинный.

На столе, изрядно потеснив книги и папки с бумагами, мессией в окружении апостолов явились сахарница с колотым рафинадом, три цветастые чашки-купчихи, вазочка с вареньем, конфетница, за неимением конфет наполненная тминным печеньем...

В итоге продолжать прежний мудреный разговор о путях грешных и праведных, эфирных и неисповедимых стало совершенно невозможно. Когда Акулина хотела, она умела быть самой милой, самой домашней, самой-рассамой – со всеми своими чашками-вазочками-чаем-вареньем-печеньем; и строгий английский костюм не был ей в этом помехой.

«Играет девка, – думал ты, кроша в пальцах кусок печеньица. – Беду за еду прячет. Старого Друца на мякине провести хочет...»

Отчего-то (к добру ли?) на ум пришла Деметра-покойница, Туз балаклавский. Помнишь, баро?! – явился ты по первому разу к старухе, а тут тебе и чай, и к чаю, и сама Деметра ласковая-домашняя, хоть на хлеб мажь вместо масла!

В точку попал: бери мага, мажь его...

Рыба-акулька, бедовая моя, что случилось? Отчего ты живая мне мертвого Туза напомнила?

Не отвечаешь?

Щебечешь? дуешь на горячее? сыплешь историями из жизни возлюбленного зоосада? – где пропадаешь ежедневно по пять-шесть часов: и как лицо официальное, и просто по собственной душевной склонности:

– ...представляете, отец Георгий, – муфлона сперли! На мясо небось. Вот ведь жиганы ушлые пошли! Управляющему зоосада доложили; он, как полагается, заявил в полицию; прислали городского. А я как раз зашла Фимочку проведать...

История мадагаскарского зеленого лемура Фимочки, найденного ошалелой Акулиной на помойке близ Москалевки, заслуживала отдельного рассказа, не будь она хорошо известна всем присутствующим.

– Подхожу к вольеру – и наблюдаю батальную картину маслом: городской при исполнении! Осматривает место происшествия. Вольер, понятно, целый, следов особых нет. Рядом два служителя, Агафоныч с Поликарпычем, мнутя. Ну, городской вольер осмотрел, в соседний заглядывает – а там два грифа бродят. Он изумляется: «Птицы ж! улетят к эфиопцам, а казне разорение!» Поликарпыч ему: «Хрена там улетят, у них крылья подрезаны...» – «А у мафлона крылья подрезали?» – интересуется городской. Поликарпыч кашлять стал, посинел весь, а Агафоныч ничего, бурчит: «Никак нет, ваше усердие!» Городской на радостях бланк казенный достал, планшетку подложил, карандаш чернильный послунял – и ну протокол составлять.

Я не утерпела, заглянула через плечо, читаю: «Следствие по делу о хищении маффона прекратить ввиду отсутствия состава преступления. Поскольку у вышеупомянутого маффона не были вовремя подрезаны крылья, и он улетел».

Когда вы с отцом Георгием отсмеялись, а Акулина-Александра сгрызла едва ли половину мелко наколотой сахарной головы, запивая это дело чаем (и никак не наоборот; вот ведь сладкоежка!) – ты наконец решился:

– Бог с ним, с муфлоном твоим. Другое поведай: отчего глаза на мокром месте? От чая ли отчаялась?

Твоя крестница аккуратно поставила на стол чашку: словно крутым кипятком, обожгла взглядом тебя, отца Георгия:

– У Тамары, дочки Шалвы Теймуразовича, опять приступ. Как в прошлом декабре. Или как два года назад.

Ты понял все – и сразу.

– Федька?

– Да. К нему присохла. Теперь Федюныше с дачи ходу нет: если видеть его не будет – опять биться начнет, руки на себя наложить попытается. Я сама видела... Еле удержали в тот раз.

Ты понимал: девка (баба она давно, рожать скоро, а тебе, дурню старому, все – девка!) держится из последних сил. Здесь помощь одна – пусть говорит, не копит в себе, пускай выговорится всласть.

Легче станет.

– Это ненадолго, Акулина. Три дня; может, четыре. Потерпи, а?

– Да знаю я, дядя Друц!.. знаю. От меня она тогда тоже через три дня отсохла. Потерплю я, все нормально... Отец Георгий, грех на мне: едва не убила ее, бедную! С ножом она на меня пошла... страшно шла, меня чуть навстречу не кинуло! В сердце вар кипит, вот-вот пойдет горлом, не остановлю! Шалве Теймуразовичу спасибо – перенял дочку. Меня просил уезжать скорее, от греха подальше. Коляску дал, кучера – я и уехала. А Федюныша там остался. Да понимаю я все, не смотрите вы на меня так! Ничего страшного. Ну, поживет Федор на даче... жара на дворе, а там пруд, озеро... потом у нее пройдет. Она ведь не виновата, Томочка. Мне ее тоже жалко. Я не обижаюсь, и за нож не обижаюсь – обошлось ведь...

Все, понесло Акулину. В глазах еще слезы, но вскоре они наверняка высохнут. Хотя – не позавидуешь ей. И ведь хорошо держится девка! Любимый муж (а Федьку она любит, тут никаких сомнений!) с другой остался – нет, крепится, давит фасон! Понятно, что ничему лишнему меж Федькой и Тамарой не бывать: и князь, и Княгиня, и мамки-няньки проследят... А все одно – сердце не на месте.

Особенно когда еще и ребенка носишь...

* * *

Акулина с Федором поженились через восемь месяцев после приезда в Харьков. Свадьбу завертели – на три дня. Обвенчавшись в самой людной, Воскресенской церкви, поехали в Немецкий клуб, где имелась лучшая на весь город ресторация; после учинили катание по известным площадям, Тюремной и Жандармской, – с песнями, развеселым гиканьем, шутихами, петардами. Не сиди князь Джандиери в первой бричке посаженным отцом, не сияй лазоревым мундиром, отличиями «Варварскими» – быть беде! А так: отшутили, да и устроили пляски до упаду от заведенья к заведенью – гей, дам лиха закаблукам!.. Зря, что ли, статский советник Цебриков некогда писал в докладе: «...характерным для города является обилие кабаков»?!

Под утро, на берегу Лопани, когда все утомились плясать и пить, но, будучи в азарте праздничного возбуждения, никак не могли разъехаться по домам, Федор вдруг принялся читать стихи. Ай, хорошо читал! Народ аж заслушался. И ты заслушался, помнишь?

Помнишь, конечно, помнишь. Вот с того самого дня и пошла гулять за Федькой слава поэтическая.

Но слава – это позже. А тогда, отославшись, молодые с гостями укатили на пикник, в излучину Северского Донца. Казалось, вернулась таборная жизнь, юность к тебе вернулась, Друц ты мой милый! – плясал от души, пил, не пьянея, мимоходом творил мелкие чудеса, которые в случае чего всегда можно было выдать за ромские фокусы; и пела Княгиня, и плакала, птицей вырываясь из рук, гитара...

Счастья вам, молодые!

На рассвете, устало и счастливо раскинувшись на земле, спросил у Федьки вполголоса:

– Слышь, муж законный?.. не поторопились ли? Супружница-то твоя совсем молоденькая... сумеешь не обидеть? углы обойти?! Ты пойми, я от сердца, не за просто так в душу лезу!..

– У нас, Дуфуня, все вовремя. – Федор тронул тебя за плечо, задержал руку; быстро сжал пальцы, словно намекая на что-то тайное, известное только вам. – Сам понимаешь: молодожены ночами не спят, снов не видят... А нам с Акулиной позарез надо снов не видеть.

– О чем ты, морэ?

– Да уж знаешь, о чем я...

Ты знал. Давным-давно, спутав явь и срамные видения, какие начинаются у всякого крестника в свой срок, ты полез с ножом на Ефрема Жемчужного: резать учителю жилы. За похабщину; за клинья подбитые, грязные. Хорошо еще, что резать ты тогда не шибко умел, – набил тебе старый Ефрем ряшку и ничего объяснять не стал.

– Жди, – буркнул, утираясь. – Схлынет.

Сам ты все уразумел; когда в Закон вышел, когда крестника впервые под Договор взял. Вот и сейчас – шлепнул ладонь поверх Федоровой лапищи:

– Жди, Федя. Схлынет. Перестанем мы с Княгиней вас ночами мучить... скоро уже.

И ошалел: надвинулись глаза Федькины, а в глазах-то – волна за волной.

– Эх, Дуфунька, мил человек!.. Добро б только вы с Княгиней!..

Так и пошла у молодых жизнь семейная.

Как-то быстро у них сложилось, быстро да ладно – вы только радовались тихонечко. Через плечо поплевывали; по дереву стучали. Счастье – штука ненадежная, хрупкая; редко кому выпадает. А коль выпало, держись за него обеими руками, береги от дурного глаза! Им ли, щенятам, держаться, им ли жить по-умному? Слепые они, кроме друг дружки, никого не видят.

Значит, взрослая это забота – счастье нечаянное беречь.

Временами ты сам себе дивился: за родных детей (где родные-то бродят? мало ли баб у тебя перебивало?), и то б меньше тревожился. Дивился, в затылке чесал. С Княгиней перешептывался: мажья наука у молодых со дня свадьбы в рост пошла – будто кто их за уши тащит!

Чихнуть не успеешь – в Закон выйдут, новых крестников подыскивать придется!

Впрочем, на этот счет вас ихняя светлость Циклоп успокоил: придет срок – сыщутся ученики. И для вас, и для молодоженов. Уж он, князь Джандиери, позаботится.

– Так ведь они *сами* хотеть должны! – заикнулась было Рашка.

– Захотят, – улыбается в ответ князь, щеточку усов рыжих ерошит. – Так захотят, что на край света за вами побегут.

– Так ведь... – Это уже ты встрял.

– Само собой, – смеется князь (а тебя оторопь берет: Циклоп? смеется?! ромалэ, видано ли?!). – Каких скажете, таких и подберем. Рыжих? толстых? с родинкой на верхней губе? И всякий за вас в огонь и в воду. Можете не сомневаться.

Вы и не стали.

Сомневаться.

Одной заботой меньше – и слава богу!

А за молодыми все одно приглядывали. Губу прикусывали. Отродясь не бывало, чтоб ученик сильнее учителя выходил, крестник-подкозырок – выше битого козыря. В лучшем случае – вровень; прав отец Георгий. Ай, баро! – Княгиня как-то обмолвилась, с полгода назад: Феденька сейчас чуть ли не Король! А когда в Закон выйдет – даже подумать страшно!

Вроде бы радуется, а у самой и вправду страх в глазах.

Промолчал ты тогда. Не стал Валет у Дамы спрашивать: что за маг из кус-крендельской девки выйдет?! Ведь выше Туза не бывать в колоде козырям... И масть! масть смазалась! Смотришь на Акулину: сила мажья из девки так и прет, страшная сила, небывалая – а масти не разобрать! Ну хоть тресни! И знаешь ведь, что Пиковая она, девка-то, что масть по наследству передается, – ан нет, не видишь тех Пик. Другое видишь – все масти разом: плывут, друг на друга накладываются...

Вот он, Брудершафт, во что вылился!

Не пойми во что...

Неужели покойный Ефрем Жемчужный не сказками тебя-малого развлекал? Что, мол, редко, раз в сотню лет или того реже, объявляется среди коды Джокер. Маг силы необычайной, любого Туза тузовей; любой масти маститей. Приходит во время смутное, жизнь живет ярко да коротко; уходит не в срок – а жизнь живая за Джокерской спиной другой становится. Как после смерти очередного Ответчика за грехи наши.

Сказки!

Побасенки ночные!

Или просто не хочешь верить, баро? Поверь в смерть – шагнет на порог! Господи, меня, меня казни, а их не трожь! Хоть во искупление, хоть как угодно – мимо, мимо чашу неси! Пусть у них все хорошо будет, пусть долго живут, долго и счастливо!..

Как в сказке.

В хорошей сказке, где конец – счастливый.

Ведь когда маг чего-то очень захочет – оно нередко сбывается. А ты ведь хочешь, чтоб так и было, Друц-лошадник? ну?! отвечай!!

Хочешь?!

...встряхнулся, отгоняя тяжкие мысли. Только подумал еще, что Акулина сейчас восьмой месяц беременной ходит. А когда ты ее масть ловить перестал, баро? Не в начале июня? И про тягость Акулькину лишь тогда же, от нее самой узнал – на вид-то шиш опознаешь, ни брюха толком у козы-егозы, ни пятен на лице, ничегошеньки! Хотя... ну должен ведь был почувствовать! – козырь младшую карту нутром чувствует... Ан нет, проморгал. Беременность у бабы, что в подкозырках-подельщицах ходит, – дело редкое, почитай, небывалое! Не зачать крестнице ребеночка, пока в Закон не выйдет. Да и тогда...

Рашка-то бездетная.

Кто Джокер? Тот, кто родился, или тот, кто родится?!

Кому жить ярко-коротко?!

* * *

– ...А меня Поликарпыч с Агафонычем «зверской дамочкой» прозвали! – Акулина уже улыбается, и слез в глазах больше нет; только голос еще подрагивает перетянутой струной.

– За характер? – решаешь ты подыграть. – Или за привычку по клеткам шастать?

Ох, фыркнула красавица! Норовистая кобыла от зависти сдохнет!

– И за это тоже. – А сама отвернулась, мимо глядит. – Когда у барса Тюпы кость в губе застряла – кто в клетку полез? Александра Филатовна, ясное дело!

– Добро б ты кость из губы вынимала, – не преминул поддеть ты. – Мне рассказывали, Александра свет Филатовна с тем барсом чуть ли не целоваться стала! Жаль, муж не видел...

– Так больно же Тюпе было! – совершенно искренне удивилась Акулина. – Кто снимет, если не я? Я ж понимаю!..

– Боль она снимала! Понимает она! Ни черта ты, прости Господи (виноватый взгляд на отца Георгия: случайно, мол, вырвалось!), не понимаешь! Нельзя до Закона в эти игры играть... Тем паче на людях.

– Вот и в зоосаде мне так один говорил. Товарищ управляющего, Лавр Степанович. Правда, он про другое: мол, не лезь, куда не след! служителям лучше знать, сколько мяса хищникам полагается. А я что, слепая? Не вижу, как в разделочной лучшие куски отдельно кладут? Не понимаю, куда те куски идут? В общем, я его предупредила, что молчать не буду. А он меня предупредил: доиграешься, девка. Тогда я не только молчать, но и ждать не стала: пошла к управляющему! Дескать, иду писать докладную в отделение! Лавр Степанович, когда увольняли его, грозиться вздумал – так я ему тоже пообещала: вот сейчас пойду, мол, открою клетку... Даже не успела сказать, которую, – его как ветром сдуло!..

– Теперь понятно, почему вас, Александра Филатовна, «зверской дамочкой» кличут, – чуть заметно улыбнулся в бороду отец Георгий. – Прозвище хоть и неблагозвучное, но таким гордиться можно. Вижу: никому спуска не даете, невзирая на чины, за правду горой стоите...

– Вы уж простите, отец Георгий, но чихала я на всю эту правду с присвистом! И на кривду заодно! – Акулина разошлась не на шутку. – А зверей обижать не дам! Раз они пожаловаться не могут, раз в клетках сидят, будто в остроге, – значит, у них воровать можно, да?!

А ведь права Акулина! Предложи Лавру-товарищу кошелек у управляющего стянуть – обложит по матушке, а то и городского кликнет: «Я человек честный, добропорядочный, а он мне...» А на деле – вор вором! Правда? кривда? при чем тут они?..

– Ну вот, опять не так сказал! – расстроился батюшка. – Ну пусть не за правду – зато по совести.

– По совести...

Акулина задумалась, замолчала, что случилось с ней не слишком часто; но все-таки чаще, чем раньше.

– Ах, отец Георгий, совесть – она у всех разная! Лавру Степанычу его совесть у тварей бессловесных воровать позволяет. А мне моя смолчать не позволила.

«Ты и прежде-то не больно молчала!» – едва не ввернул ты, но вовремя придержал язык. Прикусил.

– Дочь моя... – Священник привстал, успокаивающе тронул руку молодой женщины, но был остановлен гневным выкриком:

– А вы не смотрите на меня так, отец Георгий! Не на исповеди! Думаете, не знаю, что *вам* совесть позволяет? Бог! правда! совесть! беседы задушевные... А сами нас тем временем изучаете втихаря! Мы ведь для вас вроде букашек, которых под микроскоп кладут! Интересные букашки, необычные; забавные даже! Одна кусается, другая сама под микроскоп лезет, чтоб удобнее смотреть было... Где Бог? где душа? где совесть? а, отец Георгий? Вас ведь не это интересует, верно?

– Верно, Александра Филатовна. И неверно.

Голос отца Георгия звучал ровно, чтоб не сказать – монотонно, но ты чувствовал, каких усилий это стоит священнику. Задела его девка за живое!

– Когда понять хочу, как сила мажья действует, как передается от крестного к крестнику, отчего нельзя искусству чародейскому научить другого так же, как вас в институте учат? отчего угасает век от века сила магов и можно ли тому воспрепятствовать? – тогда правы вы, Александра Филатовна. Нет здесь совести, нет здесь души – одно голое знание, которого мне так не хватает и которое я с превеликим трудом и тщанием собираю по крупичкам много лет. Но

когда я вижу, как гибнет великое искусство, как умирают страшной смертью юные ученики, пусть они трижды грешны и виноваты! – я забываю о знании и, как вы изволили выразиться, Александра Филатовна, о «букашках под микроскопом»!

– Забываете? Особенно в суде, когда обер-старец Георгий визирует приговор?! «Ныне, присно и до окончания срока, аминь»?!

– Прекрати, глупая! – Ты возвысил голос, но Акулина в ответ только сверкнула глазами; и в следующий миг ее в кабинете уже не было. Хорошо, хоть дверью хлопнуть не стала. А тебе вспомнилось, как в кабинете полковника Джандиери тебе впервые довелось увидеть те самые «дела», за которые любой маг в законе руку на отсечение отдать не пожалеет...

Ты стоял и смотрел.

Молча.

Все Договоры уже были подписаны и скреплены печатями, все бумаги оформлены, и теперь в кабинете начальника областного училища стоял не беглый маг-рецидивист, по которому петля плачет, а «негласный сотрудник» Вишневский Ефрем Иванов. Старший смотритель училищных конюшен.

Отныне – свой среди чужих.

И вот тогда-то из скрипучих недр сейфа возникли новенькие, еще не потертые на сгибах, не припорошенные канцелярской пылью, не успевшие распухнуть от множества бумаг четыре аккуратные папки.

Ты стоял и смотрел.

Плевать, что значитесь в твоих бумагах. Будущее изменить можно – прошлого не изменишь. Валет Пик по кличке Бритый ждет над исконными святынями жандармского управления: делами на завербованных магов.

– Желаете взглянуть? – вежливо поинтересовался господин полковник. – Извольте. Думаю, это не будет слишком большим нарушением: как-никак, теперь вы у нас на службе и вполне можете ознакомиться...

Нет, ты не потянулся к «своей» папке. Рука безошибочно выдернула из стопки единственное дело, которое тебя интересовало по-настоящему.

«Негласный сотрудник № 76-прим. Оперативный псевдоним – Акула.

Рука невольно дрогнула.

Вот уж действительно – не в бровь, а в глаз! И в кого это она такая? В отца? Не похоже... В мать? в тебя? в Княгиню?..

* * *

– Вы ее простите, отец Георгий! Молодая еще, дурная, горячая; опять же – в тягости; а сегодня... ну, сами слышали. Тут третий калач на стенку лезть станет! Через день-другой извиняться прибежит...

– Не виню я ее, Дуфуня. – Батюшка мало-помалу приходил в себя, успокаивался. – Сам виноват: нечего в душу лезть без спросу. Вечно вкладываем друг другу персты в разверстые раны – а потом обижаемся. Видел же: Александра Филатовна находится в расстройстве душевном! – а все равно сказал, не подумавши. За то и поплатился. Тем паче права она, Дуфуня, во многом права!..

– В чем?

– В том, что я всех вас изучаю. Понять пытаюсь. И тебя, и Княгиню, и обоих Крестов, Сеньку с Евлампием, которых за пять лет до вас завербовали; а пуще других – саму Александру Филатовну с мужем ее, Федором Федоровичем. Думаешь, не вижу: небывалое творится! Под-

козырок козыря за пояс затыкает! Знаю, знаю: ты мне про ваш Брудершафт рассказывал. Ведь по закону Божескому и человеческому нельзя близких родичей в жены-мужья брать! Церковь это по-своему объясняет, наука по-своему, однако в одном и богословы, и ученые сходятся: от таких браков хиреет род, вырождается, дети рождаются хилые да слабосильные... Может, и у магов так? А ежели две линии разные, две масти меж собой Брудершафтом скрестить?! Свежая кровь? – не так ли, Дуфуня? Не здесь ли выход?!

Ты пожал плечами:

– Не знаю, отец Георгий. Только будь моя или Рашели воля – не бывать тому Брудершафту! Само все вышло, случайно.

Ой, не врешь ли? Тогда ведь вас словно кто-то под руки подтолкнул!

Кто?!

– Нет, батюшка, не знаю. Страшная это штука: Брудершафт. Оттого страшная, что никто наперед сказать не может: во что выльется? – Слова давались с трудом, отказываясь покидать пересохшее горло. – Боюсь я, отец Георгий. Как бы не свихнулась девка! В тягости она, а тут еще история эта, с княжеской дочкой... Акулина и без того разок обмолвилась: дескать, странное временами видится, и за плечами будто не вы с Княгиней, а чужие-другие-всякие... А вы говорите – выход! спасение!..

– Дай-то бог, чтоб обошлось, – вздохнул отец Георгий. – Ведь недолго уже им с Федором Федоровичем осталось?

– Недолго, – согласился ты. – Как бы у Акулины на самые роды выход в Закон не пришелся!

– Ну, на все воля Божья. Ты, главное, верь, Дуфуня! Молись; если молитва от сердца – Господь услышит. Тяжкие времена для магов настали, я уж думал: и вовсе последние. Ан нет, теперь верю: Знак это свыше. Звезда путеводная – Брудершафт ваш. И ты верь, Дуфуня. Верь и молись, чтоб все обошлось.

– Спасибо, отец Георгий. Мы-то ладно, отрезанный ломоть, мы свое отжили-отворожили. А им, молодым... Вокруг, сами знаете, что творится!

– За крестников не тревожься. Они теперь у государства под защитой – спасибо господину полковнику. Да и себя раньше времени со счетов не списывай, грех это. У тебя, может быть, только сейчас настоящая жизнь и начинается...

– Легко вам говорить, отец Георгий! Всю жизнь, почитай, при училище, в Законе и не были толком, не воровали, жизни никого не лишали, против властей не шли – а мне-то, с моим-то прошлым? А Княгине?

– Говорить легко. – Отец Георгий произнес это отчетливо и с нарочитым спокойствием. – Зато жить – не легче, чем тебе. Толку ли, что мне сам владыка Виталий грехи отпустил? что разрешение дал ученика взять и употреблять силу мажью по мере надобности на благо церкви и государства? Ведь решения Архиерейского Собора от лета 1654-го от Рождества Христова никто не отменял! А в решении том ясно сказано: все эфирные воздействия считать происходящими от дьявола! Значит, и я, священник, грех совершаю! Владыке, конечно, спасибо великое и поклон земной – только душа не на месте. Как ей на месте быть, когда к чужим душам, к живым и усопшим, с вопросами лезу?! Знаю, что с санкции, что державе на пользу... А все равно – тошно! Будто Сатане свечку ставлю... И силу мажью изучать, законы, ею движущие, я не с вас, не с крестников ваших начал. С себя! Ладно, об том разговор долгий, а время позднее. Спать пора.

– Спокойной ночи, батюшка.

Ты поднялся. Затоптался на месте, разминая ноги, онемевшие от долгого сидения на шатком стуле.

– Спокойной ночи, Дуфуня. А Александре Филатовне передай: я на нее не в обиде. Наоборот, сам прощения прошу за слова неосторожные, что душу ей разбредили.

– Передам.

Ты постоял еще немного, зачем-то кивнул – и, протиснувшись мимо письменного стола, на ходу доставая папиросы, выбрался из кабинета.

– До свидания, отец Георгий.

Заметки на полях

Загляните в глаза отцу Георгию – он не станет отводить взгляд, он все понимает. Он позволит вам увидеть:

...келья.

Монашеская келья. Рукотворная пещера. Грубо отесанные, шершавые стены; тусклый огонек лампадки выхватывает из темноты каменное ложе, маленький столик, на столике – фолиант в кожаном переплете, чернильница, несколько гусиных перьев и листок пергамента, исписанный наполовину.

Пламя лампадки дрожит, бродят по стенам причудливые тени, свет и мрак качаются, клубятся в шатком равновесии...

Кто – кого?

*** * ***

Священник не ответил, расстроено глядя в стол.

Георгий Радциг, магистр богословия, доктор римского права, епархиальный обер-старец, автор диссертации «Психологическое обоснование уголовной ответственности»; он же Гоша Живчик, Десятка Червонная, маг в законе, «негласный сотрудник № 39-прим», проходивший в секретных документах под оперативным псевдонимом Стряпчий.

Круг второй

Я однажды узнаю, зачем я была...

*— ...молвить без обиды,
Ты, хлопец, может быть, не трус,
Да глуп, а мы видали виды.*

*Ну, слушай...
Опера «Киммериец ликующий»,
дуэт мага Пелиаса и Конана Аквилонского*

Прикуп

— Ну да, ну да... молчун ты!.. зову я тебя, зову, а тебе все как с гуся вода...

Отец Георгий, епархиальный обер-старец при Харьковском областном училище, наклонился.

Поднял и себе один лист.

Кленовый.

Разлапистая пятерня наливалась багрянцем; вязь прожилок неприятно напоминала ладонь скелета.

— Ты Куравлева помнишь? — зевнув, осведомился преосвященный Иннокентий. — Полковника? Забыл небось благодетеля...

Прошлого начальника училища, Куравлева Бориса Петровича, отец Георгий знал хорошо. Как-никак столько времени бок о бок... И про участие полковника в «Мальтийском Кресте», иначе «Заговоре обреченных», — тоже знал. Проговорился Куравлев, незадолго перед тем, как ума лишился. Был зело пьян, начисто растеряв обычную сдержанность; зазвал в кабинет, стал без причины куражиться: скоро, мол, святой отец! изведем ваше семя под корень! ибо знаем, что корень ваш — листья да ветки!

Наболтал лишнего.

Все звал священника Павлом; дескать, от фарисеев переметнулся, сперва одних камнями побивал, теперь других посланиями укрощает. Быть отцу Георгию святым апостолом.

Кошунствовал, коньяк из горлышка хлестал.

А четырех месяцев не минуло — увезли полковника под белы ручки на Сабурову Дачу. Громкий случай был: явился Куравлев в оперу, где отродясь не бывал, и, когда зал замер в упоении, внимая дуэту тенора Франкини и меццо-сопрано Ноэль-Гвиды, прыгнул вниз из ложи.

Прямо на сцену.

Взял такой фа-диез, что тенор в коленках прогнулся — «Мамма миа! мамма миа!», по-своему, значит, матерно одобрил! — стал кобуру лапать, уже почти расстегнул, да рухнул в корчах.

Оттуда и унесли несчастного.

— Помню, владыка. При полковнике Куравлеве на меня, недостойного, были возложены тяготы обер-старчества. А за полтора года до сего...

— Грехи тебе отпустили за полтора года до сего. Ты ведь не вербованный, сам пришел, в ноги пал: не могу больше! Ну да, ну да, сам все знаю, не спеши объясняться... Умер твой Куравлев, на Сабурке-то. Вчера на рассвете и отдал богу душу.

— Царствие ему небесное, — перекрестился отец Георгий.

– Ну да, ну да... А завещания он не оставил, полковник. Быть теперь грызне меж молодой вдовой и сыновьями от первого брака...

Куда-то гнул владыка, намекал. Не дойдет намек – берегись. Многим за это доставалось: причетники увольнялись «в светское звание», священники – за штат, что привело к повальному бегству низших чинов клира из Харьковской епархии в другие. Но отец Георгий чувствовал: здесь намек – не угроза.

Иного владыка хочет.

– Жалко вдову. Облапошат ее пасынки, объедут на кривой. Здесь хороший стряпчий нужен, верный... Отец Георгий, а ты раньше хорошим стряпчим был?

Вот.

Слово сказано.

– Плохим, владыка. – Отец Георгий, не мигая, выдержал взгляд Иннокентия: хитренький, острый, полускрытый космами бровей. – Выше Десятки не поднялся. И работал-то по масти всего ничего. Вы это имели в виду?

– Ну да... обиделся. Не ври, сам вижу: обиделся. А я не обидчив. Ты вот со мной откровенничать брезгуешь, как с прошлым владыкой откровенничал, а я – нет, не обижаюсь. Слова из тебя клещами не вытянешь – нет, не обижаюсь, тяну помаленьку... Вот спрошу я тебя: отец Георгий, каково оно – быть стряпчим меж магов? что за дела делать надобно? А ты и здесь промолчишь, пожалуй...

Священник посмотрел в небо, исчерканное крестами и вороньими стаями. Прямо над головой нависала ветка старой акации: жесткая, колючая, вся в пыли.

Ветка как ветка.

– Отвечу, владыка. «Видок» – это ясновидец, «трупарь» – некромант; а «стряпчий» – он, как вы правильно изволили заметить, дела делает.

– Какие?

– Разные. Уехал чиновник по делу и не вернулся. Хороший «стряпчий» способен дотянуться, связаться с чиновником, получить нужные для дела и для семьи сведения...

– А если помер чиновник-то? если сгинул по дороге?!

– Это не важно. Живой, мертвый – для «стряпчего» нет разницы. Далее: в присутствии «стряпчего» нельзя врать. Начинаешь собакой лаять или просто кашлять... Вот и зовут, когда компаньоны друг другу не доверяют. Заверить сделку, так сказать. Или еще: подлинность утвердить. Картина – оригинал ли? копия? Документ – подпись истинная ли? не поддельная?

– Ну да, ну да... так что ж это выходит?..

Отец Георгий покачал головой: ничего не выходит, владыка.

И не думайте.

– Дурак ты, отец Георгий. Умный, а дурак. Небось полагал: я сейчас тебя по масти заставлю работать?

– А меня, владыка, и без вас заставляют. По масти. Я ведь не только обер-старец, облеченный саном, я еще и негласный сотрудник Гоша Живчик. Согласно общему решению властей светских и духовных. Вот надумают там, наверху, вдове безвременно почившего Куравлева помощь оказать; обратятся к вам – дайте, мол, владыка Иннокентий, разрешение на использование отца Георгия по назначению...

Цепкая лапка владыки ухватила священника за рукав рясы.

– А я дам, дам-то разрешение! Ты что, душу полковничью с того света притащишь, завещание писать?!

– В ересиархи податься решили, владыка?

Вернулась лапка на место; посерьезнел взгляд Иннокентия. Чувал отец Георгий: сейчас можно позволить себе говорить почти все – кроме того, чего сам говорить не хочешь. Простит владыка. Упрек простит, намек простит, отказ простит.

Лжи прощать не станет.

– Да. Ныне ересь говорить буду, – предупредил Иннокентий, сдвинув брови, отчего стал изрядно похож на ахейского Зевеса-Даймона. – А ты слушай да на ус мотай. Думаю, не я первый – многие к тебе подкатывались... по масти. Верно?

– Неверно, владыка. Я, в Закон выйдя, почти и не работал-то... Десятка я, карта слабая, малая. Да и уже тогда понимал: пагубную дорогу выбрал. Зато, скажу без скромности, смирать себя научился. Зарок дал: шесть лет без единого финта прожить – прожил, владыка. Выдержал. И по сей день креплю обручи на сердце. Ничего, кроме санкционированных эфирных воздействий. Ко мне подкатываться – обратно катиться далеченько выйдет.

– Ну да, ну да... А церковные тяжбы? патриархии споры? разногласия? Их решать не предлагали?

– Предлагали. Два раза.

– И?..

– Отказался. Между «стряпчих» знают: запрет на сем. Возьмешься подлинность щепки от Святого Креста определять – сторишь. Жил в Анатолии знаменитый маг, из Червонных, – возгордился на старости лет, решил вековую тяжбу суннитов с шиитами решить. Дескать, кто именно убил праведного Хусейна? был ли брат его, халиф Хасан, и впрямь отравлен? наличествует ли в Коране сура «Два солнца»?!

– Решил? выяснил?

– Жизни решился. Да так, что и ад раем покажется.

В пыли, едва ли не под ногами, дрались воробьи. Из всех забот, светских и духовных, их более всего интересовала какая-то съедобная дрянь. Чирикание, шум, гам... Толстый голубь-сизарь бродил поодаль, но соваться не решался.

– Жаль, – тихо сказал преосвященный Иннокентий.

– Чего жаль, владыка? кого жаль?!

– Вас жаль. Ишь, выпятился! – а я ведь предупреждал: ересь говорю. Жаль мне вас, магов. Выдавливают вас, будто гной из прыща; скоро всех выдавят. Не нужны вы никому; самим себе и то не нужны. Вот тебе не странно ли: любой закон вас отвергает, отталкивает, силой на обочину гонит – кроме вашего Закона! Почему вы чужие? потому ли, что иные? Нет!

– Тогда почему, владыка?

Иннокентий молчал.

Осень бродила вокруг Покровского монастыря, шелестя опавшими листьями – быть весне, быть листе новой, течь изумрудным шепотом... только этим, сухим, палым, каков барыш с того?..

Труха воспоминаний?

V. Рашка-княгиня, или Делай как я

*Наследство, поспешно захваченное вначале, не благословится
впоследствии.*

Книга притчей Соломоновых

Старый айн сидел на корточках.

Возле него растопырила чугунные лапы скамейка, врытая в землю. Удивлялась всеми своими досками, окрашенными в противный сурик: почему? ведь вот она я?! удобная!

Садись, макака!

Садись по-человечески!

– Добрый утро, Эрза-сан, – сказал маэстро Таханаги, кланяясь из своего неудобного положения. – Ждать его светрость?

Ты улыбнулась старику: за смешной акцент, за ласковую вежливость, скрывающую безразличие змеи, за цивильный костюм, на два размера больший, чем требовалось.

– Вы правы, мой милый господин Таханаги. Чтобы увидеться с мужем, жена вынуждена вставать ни свет ни заря и ехать к месту его службы. А потом долго-долго ожидать, пока «его светрость» кончит распекать своих питомцев. Скажите, это правильно? у вас на островах так бывает?

Маэстро Таханаги очень серьезно задумался. Безбровые складки над глазками-щелочками сошлись к переносице, скулы выпятились, отвердели двумя костяными желваками. Сейчас айн сильнее всего походил на больную, отжившую свое, но еще опасную птицу: бросится на добычу? передумает? затаит взгляд тонкими пленочками, опять уйдя в дрему?!

Нет, ответил. Пожевал губами:

– У нас бывать. Всегда бывать. Муж дерать деро; жена – ждать. Дорго-дорго. И никогда не бранить. Иначе муж бить жена и ходить к гейша. Садитесь, Эрза-сан. Будем ждать вместе.

Напротив, по ту сторону второго плаца, плясал с кривой дагестанской шашкой унтер Алиев. Ему изрядно досаждала четверка портупей-вахмистров со второго курса, вооруженная учебными эспадронами. Утоптанная земля площадки взрывалась фонтанчиками пыли, облав-юнкера – завтрашние выпускники! – старались изо всех сил, норовя достать, дотянуться всерьез, сдать наконец вожделенный зачет; но Алиев с бесстрашием горца, помноженным на невозмутимость облавного жандарма, игнорировал их потуги.

Из всех живых существ на свете он признавал лишь свою шашку, заветное сокровище предков; вот с ней и плясал.

А остальное – досадная помеха.

Двоечники.

– Садитесь, Эрза-сан. У вас говорить: в ногах правда нет.

Боже! – ты едва успела опомниться. Хороша была бы княгиня Джандиери, жена начальника училища, присев на корточки рядом со стариком! Давняя, острожная привычка: когда-то ты часами могла сидеть вот так, в бараке, слушая душещипательные истории товаров или сама рассказывая здесь же придуманные байки.

Нет, спасибо, мы лучше на скамеечку...

В профиль маэстро Таханаги вдруг напомнил тебе истрепанный лист пергамента. Буквы давно стерлись, смысл написанного темен, еле-еле проступает царапинами, следами чаек на песке; но основа крепка по сей день. Шалва Теймуразович рассказывал: с этим коротышкой он впервые познакомился в Мордвинске, где старый айн многому научил господина полковника... тогда еще полуполковника.

Чему именно – об этом Джандиери предпочел умолчать.

Но по вступлении в должность он телеграммой предложил маэстро Таханаги должность преподавателя гимнастики и весьма приличное жалованье.

От добра добра не ищут: старик переехал в Харьков за казенный счет. А ты всегда подчеркнуто вежливо, с приязнью относилась к маэстро – потому что он напоминал тебе о днях, которые ты хотела забыть навсегда. Ведь он ни в чем не виноват, маленький азиец; не его вина, что при виде пергаментного личика тебе мерещится изуродованное лицо Ленки Ферт на мраморе стола...

– Спокойнее! Спокойнее, я сказал!

Вспотевшие облав-юнкера и впрямь стали заводиться. Раскраснелись; лица исказила одинаковая гримаса. Один, самый рослый, кинулся было напролом, получив обидный удар плашмя по филейным частям тела; Пашка Анянич (и здесь без него не обошлось!), решив сойтись с треклятым дядькой-наставником поближе, шлепнулся боком в заросли шиповника, отделявшего площадку от решетчатой ограды.

Остальные почли за благо отступить.

– Делай как я! Спокойнее! Не к лицу... вам... будущим офицерам...

– Дыхание сбирись. – Маэстро Таханаги с сожалением покивал головой. – Господин Ариев много говорить. Много говорить – маро дышать. Маро дышать – маро жить.

– Но ведь он прав. Не так ли, маэстро? Гнев, ярость – вы полагаете их добрыми помощниками?

На самом деле ты лукавила. Кривила душой. Гнев, ярость, прочие сильные чувства... Это для других, не для облавников. В каждом из них с детства живет свой унтер Алиев, в опасную минуту подавая голос: «Спокойнее! Спокойнее, я сказал! Делай как я!» И этого внутреннего Алиева пестуют в десять рук: не к лицу будущим офицерам Е. И. В. особого облавного корпуса «Варвар» хохотать до слез, рыдать взхлеб, биться в истерике, высказывать гнев, любить без памяти...

Неприлично.

Достойно порицания.

Стыдно.

Всякий преподаватель говорит об этом по сто раз на дню; вон Пашку многожды сажали в карцер за «вульгарность поведения», на хлеб и воду.

А как он заразительно смеялся на первом курсе, еще до Рождества... отучили.

Наверное, это правильно. Тем, кто избран для служения Их Величествам, Букве и Духу Закона, для служения бессменного и верного, следует забыть о страстях житейских. Разучиться лелеять обиду, желать почестей; взыскивать славы. Например, армейцы (даже самые занюханые пехотные «армеуты» из городков N) исстари терпеть не могут жандармерию. Особенно элитных «Варваров». Смешно: в этом они тесно сходятся с магами в законе, сами того не подозревая. А сколько дуэлей случалось из-за категорического нежелания военных допускать жандармских офицеров в Офицерские собрания! Хоть кол им на голове теши, хоть переводом на Кавказ стращай...

Старый айн нахохлился; по-птичьи скосился на тебя:

– Эрза-сан удиврять Таханаги. Сирьно-сирьно. Муж – самурай; жена – самурай. Все видеть, все понимать. Зачем спрашивать, есри знать заранее?

– Делай как я! – Облав-юнкера, запыхавшись, сбились в кучку вне досягаемости неуязвимого Алиева. Унтер же творил кривым клинком замысловатые петли, по-видимому, что-то объясняя. Смуглое лицо Алиева напомнило тебе африканскую маску: чтобы хоть одна черточка дрогнула, сдвинулась с навеки отведенного места, требуется по меньшей мере вмешательство закаленного резца.

Второкурсники переглядывались, кивали, успокоившись и вернув способность здраво размышлять; тебе же урок Алиева был безразличен.

С точки зрения фехтования.

У тебя здесь другой интерес, Княгиня.

Отчего у тебя, у почтенной дамы, – у Дамы!.. – спирает дыхание, когда ты украдкой наблюдаешь за сим зачетом? За схваткой? – нет, все-таки зачетом... Отчего бубновая масть вскипает тяжким крапом и хочется либо уйти, быстро и не оглядываясь, либо, напротив, впитаться взглядом, словно пиявка – взглядом, душой, Силой, дабы понять: что происходит?!

С ними?

С тобой?!

С желтым айном, сидящим на корточках, как сидит ответ перед вопросом, непроницаемо глядя вперед?!

Нервы, нервы...

– Дома, на островах, вы были воином, маэстро? Знатным воином?

Верхняя губа айна вздернулась, обнажив желтые зубы.

Так он улыбался.

– Эрза-сан бить без промах. Таханаги быть бедный ронин. Самурай без господин. Без деньги. Без семья: жена умирать, дочь умирать. Без чести: Таханаги топтать честь рода, рубить жена-дочь, не хотеть харакири. Наниматься рыбак; маро-маро контрабанда. Потом ваш Хабаровгород, Мордвин; Хар-а-ков. Таханаги – бродяга; ворчий паспорт. Унтер Ариев-сан – воин. Верикий воин. Он знать борышой мудрость: «Дерай как я!» А макака-Таханаги знать всякий вздор: «Дерай как я и ты!»

– Вы шутите, маэстро?

– А вы, Эрза-сан? Почему вы не ехать в ваш особняк, на Сумская урица? Почему вы сидеть с бедный Таханаги? Почему не ждать господин порковник дома, на мягкий татами?

– Ну... – Положа руку на сердце, ты растерялась. – Послушайте, маэстро: ведь вы сами минутой раньше предложили мне: «Садитесь!»

Айн стал кланяться: мелко-мелко, будто зерно клевал.

– Не обижаться, Эрза-сан! Простить Таханаги. Я сказать: «Садитесь!» Ариев-сан сказать: «Дерай как я!» Вы дерать как я: садиться. Марьчики дерать как верикий воин Ариев-сан: рубить катана. Это хорошо. Все дерать как я; все – я. Торько я ручше всех: я – я, а они – как я.

Старик беззвучно затрясся, перхая горлом.

Так он смеялся.

– Вас учили по-другому, маэстро?

– Да, Эрза-сан. По-другому. Я – ручше всех; я ручше мой учитель.

– Лучше? У вас был плохой учитель?

– Вы не понимать. – Смех пропал, как не бывало, и птица пропала. Вместо нее остался человек, крайне пожилой человек, которого не понимают чужие люди; и скорее всего никогда не поймут. – Все, кто сметь говорить: «Такеда Сокаку прохотить учить!» – все умирать. Я быть ученик Такеда Сокаку. Он – хорошо учить. Я – ручше. Иначе – смерть.

– Чья? Ваша? Вашего учителя? Ваших врагов?!

– Смерть, высокий искусство, Эрза-сан. Есри ученик не ручше учитель – смерть высокий искусство. Вы смотреть: я – учитель, вы – ученик...

Пухлая лапка айна деликатно, но цепко взяла тебя за запястье, сдвинув к локтю гранатовый браслет. Подарок Джандиери к годовщине свадьбы.

– Я брать вас. Держать. Вы хотеть свобода. Вы брать вот здесь и нажимать вот так...

Говоря, маэстро умело манипулировал твоей второй рукой. Накрыл твоей ладонью свою, чуть подвинул; ты ощутила под большим пальцем впадинку на сгибе айнской кисти.

– Вы давить и поворачивать. Я страдать; я отпускать. Теперь вы. Сами.

Он снова взял тебя за руку. Вспоминая, оживляя память тела, ты накрыла, взяла, нажала и повернула. Вышло скверно. Маэстро никак «не страдать» и меньше всего «отпускать». Еще раз. Уже лучше. Но профессиональная хватка старика, будучи предельно аккуратной, все-таки напоминала кандалы.

– Не дерать, как я, Эрза-сан. Дерать как я – и вы. Вместе.

Маэстро Таханаги на миг отпустил тебя, прокашлялся – и снова потянулся к твоему запястью. На территории училища тебе было тяжело работать, сказывалась общая аура, но сам айн не был «Варваром»; а значит...

Отвести глаза удалось не вполне.

Старик промахнулся, но успел вернуть движение обратно, зацепив тебя пальцами на излете. Вспоминая азийскую науку, ты взяла, надавила и повернула, добавив крохотную мелочь.

В миг поворота айну показалось: мякоть его ладони пронзила раскаленная докрасна игла.

Нет, он не крикнул.

Просто отпустил.

– Эрза-сан – верикий ученик. Она ручше старый Таханаги. Она дерать как он; и как Эрза-сан. Выходить много ручше. Много-много. Это жизнь высокий искусство. А это, – айн кивнул в сторону унтера Алиева, – смерть. Красивый, почетный смерть. Харакири. Вы понимать?

Ты встала со скамеечки и тронула твердое, совсем не старческое плечо маэстро.

– Спасибо, – сказала ты. – Спасибо за науку.

– Вам спасибо, Эрза-сан. Теперь айн иметь ученик. Настоящий ученик. Который ручше учитель...

От площадки вновь послышался звон клинков. По счастью, «нюхачи» были слишком заняты объяснениями Алиева, чтобы отловить твой мелкий «эфир». Глупо, Княгиня! – не следовало бы привлекать внимание, тем паче на территории училища.

Или отловили? просто виду не подали?!

Заметки на полях

Очень трудно увидеть что-то в узких глазах айна. Но если очень, очень постараться, то встанет из тумана:

...гора.

Нет, не просто гора – вулкан. Потухший вулкан. Бывший. Взбегают вверх по склонам низкорослые сосны, курчавятся темной зеленью, словно шерсть невиданного зверя. Выше, выше... закончились сосны. Голый камень – безучастный к дождю и ветру, солнцу и снегу. Еще выше. Белая снежная шапка венчает конус вулкана. Стылая, холодная мудрость старости.

Но если задрать голову, да так, чтоб шапка свалилась, – видите? Над самой вершиной, в прозрачной небесной голубизне курится тонкая струйка дыма.

Таится огонь в недрах.

Ждет.

* * *

Первый год жизни в качестве негласного сотрудника (в качестве жены Циклопа? смешно...) ты никак не могла преодолеть внутренний порог.

Нервничала.

– Эльза Вильгельмовна! голубушка! позвольте открыто, по-стариковски – все хорошеете, душенька!..

– Полно вам насмешничать, Антон Глебович!..

Боялась.

– Р-рота! Р-равнение напр-р-раво! на ее светлость!..

– Ах, мальчики! милые мои мальчики!..

Вздрагивала невпопад.

Старалась чаще заезжать в училище – якобы за мужем, якобы страстная, вздорная любовь на закате дней! – чаще бывать в присутствии старших преподавателей, господ облав-юнкеров... Улыбалась, скрывая тошноту; болтала о пустяках, когда хотелось бежать куда глаза глядят; кокетничала напропалую, мечтая об одном – домой, рухнуть пластом на кушетку, и...

Привыкала.

Любой маг бессилен в присутствии «Варвара». Добро б лишь он сам, облавной жандарм, цепной пес империи, был неуязвим для эфирного воздействия! – тогда можно было бы преградить ему путь другими, обычными людьми, отвлечь, задержать... уйти.

Нет.

Наверное, так действует на кролика взгляд удава. Опускаются руки, цепенеют; вместо Силы в животе скребется крыса ужаса; миг, другой, и сам ринешься в пасть с облегчением: прими, Господи, душу... не могу больше!

– Ваша светлость! Господин полковник просили уведомить: вынуждены задержаться по работе!

– Опять? Нет, это невыносимо...

Джандиери не торопил. Как-то обмолвился:

– Подожди. Когда сложится, тогда сложится.

У Друза «сложилось» почти сразу: на пятый месяц Валет уже вовсю балагурил с дядьками-наставниками, стрелял папироски у облав-юнкеров, душещепительно беседовал с отцом Георгием и шутил заказанные ему полковником шутки.

Зарубки на рукояти кнута делал: восемь «нюхачей» помог выявить, за двоих Циклоп лично хвалить изволили, с глазу на глаз, в кабинете!

Значит, две зарубки – поглубже.

Ты завидовала рому. И однажды...

– Здравствуйте, Эльза Вильгельмовна!

Они стояли у входа в Оперный театр, на углу Екатеринославской улицы и Лопанской набережной. Двое: курсовой офицер Ивиков, как и Джандиери, бывший облавник – и преподаватель фортификации, чью фамилию ты забыла, а облав-юнкера звали его Барбет.

– Добрый вечер, господа! Кто сегодня дирижирует? Вильбоа?

Мужчины переглянулись.

– Видите ли, Эльза Вильгельмовна... Уж простите нас, солдафонов! Мы, собственно, проветриться вышли!..

Две руки одновременно указали наискосок через Екатеринославскую, на вход в ресторанцию «Богемия».

Был март, с крыш капало; орал коты, мня себя итальянскими тенорами; готовился дирижировать оркестром знаменитый Вильбоа, автор романсов и оперы «Параша», – а ты смотрела на Ивикова и Барбета, чувствуя с изумлением: сложилось.

Могу.

Их самих – нет; но в их присутствии – да.

– Не увлекайся, – осадил тебя Джандиери, когда ты рассказала ему обо всем. – Через неделю станем тебя пробовать. И только с моей санкции: место, время, сила воздействия... Кстати, Ивиков в курсе твоего прошлого.

– Кто еще в курсе? – спросила ты, отвернувшись.

Князь промолчал.

А ты, Княгиня, – с этого мартовского вечера ты стала внимательней приглядываться к господам облав-юнкерам и училищным офицерам, чувствуя новую, удивительную свободу.

Все время казалось: это важно.

Это нужно.

Еще б знать: кому важно? для чего нужно?!

* * *

Преодолевая странное отвращение, ты посмотрела через плац. Раньше смотрелось куда легче; теперь же словно второй Таханаги вцепился сзади в голову, мешая шее ворочаться.

Знаешь, Княгиня... нет. Ничего-то ты не знаешь.

И врут умники-философы, утверждая, что нельзя дважды войти в одну реку! – вон она, река, и плещутся в ней по второму разу унтер Алиев с шашкой, портупей-вахмистры с их намерениями сдать зачет любой ценой. Все как раньше. Но что-то изменилось: малозаметно, плохомуловимо, и Сила тебе не поможет разобраться в изменениях облав-юнкеров, сокрытых от мага призрачной броней.

Смотри внимательней, Княгиня!

Просто смотри, без финтов...

Ты смотрела, понимая: сдадут. Еще миг, и унтер кинет оружие в ножны, остановив урок. На сей раз – сдадут. Взвизгивают эскадроны, притоптывают сапоги, бранится по-аварски кривая шашка...

«Поняли, желторотики?» – это шашка спрашивает.

«Да...» – это эскадроны отвечают.

Что поняли? в чем разобрались? о каких материях речь ведут? – не для тебя сказано-ответчено, девочка моя. Одно ясно: облав-юнкера фехтованию учатся, а тебе иное кажется – непотребство творится на площадке, чудовищное, противоестественное.

Унтер Алиев, чему парней учишь?!

– Мой учитель говорить, когда пить горячий сакэ много-много... Он говорить: «Самурай надо писать стихи! Иначе не самурай; иначе демон Фука-хачи!» Вы писать стихи, Эрза-сан?

Слова пришли сами:

– Я была.

Я однажды узнаю,

Зачем я была.

Старик почмокал губами, будто пробовал на вкус сказанное тобой.

– Вам не надо узнать, Эрза-сан. Вы – знать. Сейчас; здесь.

– Да, – машинально ответила ты, пытаясь не отвернуться от облавников; не спрятать голову в песок, подобно глупому страусу.

И встретила взглядом с Алиевым, секундой раньше прекратившим бой.

С Пашкой Аньяничем, лихим портупей-вахмистром.

С тремя облав-юнкерами.

С четверкой мужчин, жандармов из Е. И. В. особого корпуса «Варвар»: один – бывший, трое – будущих.

С четверкой «Варваров», ибо нет меж них бывших и будущих.

Захотелось исчезнуть. Вжаться в стену административного корпуса. Забиться под скамейку; встать за спину старого айна.

Последний раз такие ощущения ты испытывала при аресте в Хенинге; помнишь?!

Холод. Лютый, февральский; барачный. И через всю залу, в отблесках и шепоте, идет он: полуполковник Джандиери, ловец, настигший дичь. Он идет не спеша, и вся твоя Сила, удесятеренная Ленкой Ферт в платье цвета слоновой кости, расшибается о призрачную броню «Варвара», жандарма из Е. И. В. особого облавного корпуса при Третьем Отделении.

Пусто.

Холодно.

Некому петь кочетом.

Гаснут свечи в твоих глазах, глупая Рашка...

...Оно пришло рывком, понимание.

По-волчьи бросилось на добычу.

Как же ты не видела раньше: вот, вздымаются молодые груди, капли пота густо усеяли лбы, щеки, переносицу, красные пятна еще не угасли на скулах – но зачет сдан! Тела еще гасят физическое возбуждение, принуждая кровь размеренно струиться по жилам; но в душах возбуждения нет. Умер порыв; сдох шелудивым псом под забором, оставив сухой расчет своим наследником. Где ярость? обида? кураж где?!

«Делай как я! Спокойнее! Не к лицу... вам... будущим офицерам...»

Результат налицо.

Теперь всегда, в бою или на дуэли, близ аула Ахульго или на окраине Севастополя, они будут рубиться – спокойно.

Не бесстрастно, о нет!.. равнодушно.

«Самурай надо писать стихи! Иначе не самурай... иначе демон Фука-хачи!..»

Скакать на лошади; изучать фортификацию; стрелять из пистолета; любить женщину, мать, сына; ловить преступных магов, навеки облачась в свою призрачную броню, – равнодушно.

С равной... ровной душой.

Со второго этажа, из окна своего кабинета, на тебя укоризненно смотрел Циклоп. Лоб почесывал.

VI. Друц-лошадник, или Бес в ребро

Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убийство?

Книга притчей Соломоновых

С утра все шло наперекосяк. Начался этот самый «перекосяк» с балагана: первый же доброволец из «щеглов» лихо кувыркнулся со спины гнедого трехлетки по кличке Гнедич. Надо сказать, кличка подозрительно смахивала на фамилию. И норов у жеребца был соответствующий: не злой, но ханжески-фамильярный. Протоиерейский норов. Взятки сахаром выпрашивал. А также большой был мастак надувать брюхо, дабы подпруга вскоре ослабла, и...

Ба-бах!

«Щегол» в пыли, Гнедич над ним, и в ухо фыркает: вставай, сын мой, давай мне вкусенького! Ах, не встаешь! – тогда я тебя, растяпу, зубами за воротник: подъем, кому сказано!

По рядам ехидные смешки гуляют. Не во множестве, как меж обычными желторотиками случается, грех напраслину возводить; но в количестве досадном. Будь на месте новичков господа портупей-вахмистры, в ста щелоках кипяченые, – бровью бы не повели; зато тебе, Друц, не до смеха. Вот ведь мимо фарта, баро! – тебе-то как раз хоть смейся, хоть плачь, вольному воля, а на «щеглов» напустился ястребом его рвение, Илларион Федотыч.

Изрядную выволочку учинил.

Не подобает, значит, будущим жандармским офицерам ржать, подобно длинногривым жеребцам или оболтусам-студентам, годным лишь морским свиньям клистиры ставить. Облавной «Варвар», рупь-за-два, должен быть сдержан и спокоен, чувств своих не выказывать (а лучше – вовсе не иметь таковых); над товарищем смеяться – чистый позор, и место ли таким пустосмехам в славном училище...

Смир-р-р-но!

Смех увял. «Щеглы» подтянулись, с каменными лицами внимая нотации Федотыча; дядька-наставник голоса не повышал, лишь время от времени лязгал глоткой, отделяя одну

фразу от другой – словно затвор передергивал. А под конец своей воспитательной речи вдруг взял да и привел в пример тебя:

– Р-равнение налево! Извольте поглядеть: даже конюшенный смотритель хоть и штатский, а зубов не скалит. Потому как человек выдержанный и правильный. А вы... стыдно, господа!

Тебя же просто с утра хмурило, как небо перед грозой, – того гляди громыхнет меж бровями, и молоньи из глаз посыплются. Громыхнуло после, когда ты отчитывал нерадивых конюхов, прозевавших Гнедичеву шалость. Но «после» – оно и есть «после», а тогда, с утра, предстояло давить фасон перед облав-юнкерами, джигитовку обещанную показывать.

Всю упряжь, не доверяя больше никому, ты проверил самолично. Ворча, там подтянул, тут поправил – скорее для порядку, чем по необходимости.

– Готов, Ефрем Иванович? – подошел сзади вахмистр; и ты впервые на самом деле не услышал его шагов!

– Так точно, Илларион Федотыч.

– Тогда, рупь-за-два, я им пару слов скажу напоследок. А как рукой отмашку дам – выезжай, значит.

Ты угрюмо кивнул.

Из головы не шел давешний разговор с отцом Георгием и вспышка раздражения у Акулины. Тебя душевно огорчало, что двое близких тебе людей рассорились из-за ерунды. Батюшка ли виноват? Акулька языкатая? беременность ее? – или вчерашняя «присуха» на даче?!

Если уж Княгиня отсушить не может...

Предчувствие грозы напозало отовсюду; буря вызревала, пронизывая воздух кипящим дыханием, близилась с каждой минутой. Ай, глупый ром! – ну давай пропустим грозу через себя, сделаем своей, сами грозой станем, увидим, пойдем, разберемся...

Теплая волна лениво плеснула в животе (изжога мажьей удачи? содовой хлебнуть не хочешь?!) и бессильно откатилась обратно. Без толку. Пахнет жареным, горелым пахнет, а из чьего двора – не разобрать. Совсем плохой стал, баро, старый, бестолковый...

Правильный.

И отмашку Федотыча тоже проморгал. Пришлось вахмистру окликнуть тебя: эй, рупь-за-два!.. лишь тогда очнулся. В седло взлетел по-молодому, разом оставляя на грешной земле все тревоги-печали – конь! ты! небо! ну, и еще где-то там, далеко внизу, – бубен, в который бьют копыта.

Ветер шибает в лицо свежестью прохлады, щемящей полынью осени; и последней, невозможной свободой.

Серая вата неба – в клочья.

Земля под копытами – безумной каруселью, кровавым золотом осенних листьев, вздыбленных ветром.

Ай, мама, мчусь по небу, рассыпаю звезды-искры!.. Ай, по небу, ай, по жизни, жизнь промчится – ай, по пеклу!.. Нет коня Гнедича, нет Дуфуньки-рома – дивный китоврас из сказки, вдрабадан пьяный волей-волюшкой, баламутит землю с небом; хмель этот кружит голову не только тебе, но и стене живых мундиров – стоят! рты пораскрывали! едят глазами живой смерч! Сказку им не увидеть, на другое натасканы, слепы к сказкам, но что видят, того мундирам достаточно... Угомонись, Валет Пиковый! Не финти сверх меры! Пусть мальцы видят свой завтрашний день, нужное, к чему сами стремиться должны; пусть научиться захотят – а не опустят потерянно руки: «Ну, *так* я никогда не сумею!..»

Угомонился.

Урезонил себя.

Подавился финтом; надел на свободу уздечку.

Все правильно сделал, как и положено человеку казенному, а не лошади гулящему, у кого один ветер в башке свищет. Федотыч кивает одобрительно: молодец, значит!

Молодец так молодец. Вот только отчего тошно молодцу? Будто сам себя влет сбил, заарканил, взнуздал...

Ай, мама!.. Сквознячком от господ облав-юнкеров потянуло. Заныло в крестце; хрустнули суставы. Каторга в душе плеснула, обдала зябким воспоминанием. А двое из первой шеренги с ноги на ногу переступили. Конопатый правофланговый за живот волей-неволей ухватился – брюхо пучит, что ли? вот незадача! – а рядом у красавчика, у дамского угодника, щеку нервным тиком дернуло.

Ноздрями оба трепещут; глазами вокруг себя шарят, будто видели тень шалую, невозможную, да учуять-разглядеть опоздали – чью?!

Зато друг Федотыч все, что ему надо, разглядел.

Взял, рупь-за-два, на заметку.

Быть парням «нюхачами».

– ...быстро ты сегодня, Иваныч. Выдохся, а?

– Да просили тут не увлекаться. – Кривая ухмылка в ответ. – Вспомнить бы: кто просил? А, Федотыч?..

– Спасибо, Иваныч. Уважил. Не горюй, на твой век что коней, что парней... Гляди, никак из училища скачет кто?!

– Конюшенного смотрителя Вишневого к господину полковнику! Велено прибыть без промедления!

Неужто гроза изволила пасть на голову? Из-за подруги ослабшей? из-за смеха облав-юнкерского?! из-за финта шалопайского?! Чарку б водки сейчас, да нельзя. Правильный ты отныне человек. Выдержанный.

В дубовых бочках.

Помнишь, Дуфунька: три с лишним года назад обещал ты в Крыму жеребца свести. Подряжался, говорил: «Мое слово – железо». Хвалился: «Когда это я хоть с коня, хоть с дела соскакивал?!» Ржавым железо вышло, соскочил ты с дела; в негласные сотрудники, в правильные люди подался.

Знать бы еще: отчего по сей день дура-совесть мучит?.. Хоть бери садись на поезд, езжай тайком в этот распроклятый Крым, своди жеребца... Дурость?!

Да, конечно... Дурость.

Проехали.

* * *

– Желаю здравствовать вашей бдительности! Вот, явился по вашему...

– Являются бесы схимникам! А в кабинет начальника училища прибывают... Впрочем, ты, Ефрем, человек штатский, тебе простительно. Заходи.

Садиться не предложил. Ладно, мы люди не гордые...

Господин полковник были явно не в духе. За три года жизни в качестве «негласного сотрудника» ты научился различать едва уловимые оттенки настроений «Варваров» и князя Джандиери в частности. Но чем дальше, тем чаще задумывался: ты ли, Друз, приглядчивей стал? князь ли броне своей ржаветь позволяет?!

Опасные мысли.

Себе цену поднимешь, Циклопову уронишь – тут тебе, Дуфунька, и песня сложится: ходи, чалый, ходи полем, умер твой хозяин...

– Сговорились вы, что ли?..

Джандиери встал у окна. Растирая щепотью лоб, уставился вниз.

Видя лишь широкую спину на фоне светлого проема, ты и так знал, куда смотрит князь. На Княгиню, в ожидании мужа беседующую с желтым азийцем. И почему смотрит, тоже знал. Еще когда шел сюда, через второй плац, заметил: финтом в воздухе пахнет. Мелким, шутейным. Вот сейчас и получишь ты, морэ, сразу за два несанкционированных «эфира» – за свой и Рашкин.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.